Créme de la Créme

Джордж Вирек. Шарж М. де Зайаса
(из отдельного издания стихотворения
Вирека «Банкрот», 1955)

Джордж Сильвестр
ВИРЕК

ДОМ ВАМПИРА

и другие сочинения

Перевод Андрея Гарибова

•

Составление, предисловие и комментарии
Василия Молодякова

Kolonna Publications
Митин Журнал

ББК 84.4 США

21+

George Sylvester Viereck
House of the Vampire

В оформлении обложки использована гравюра
Саши Шнайдера "Гипноз" (1904)

В книге использованы иллюстрации
из собрания Василия Молодякова

Издательство выражает признательность
Ирине Тюриной за помощь и поддержку.

Редактор: Дмитрий Волчек
Верстка и обложка: Дарья Протченкова
Руководство изданием: Дмитрий Боченков

© Василий Молодяков, 2013
© Kolonna Publications, 2013

ISBN 978-5-98144-173-8

Оглавление

Василий Молодяков. Джордж Сильвестр Вирек: портрет в водовороте века *7*

Дом вампира (роман) *49*

Василий Молодяков. «Дом вампира»: читатели, толкователи и критики *157*

Оскар Уайльд – жив или мертв? *167*

Любовь, которая не смеет назвать свое имя *173*

Алистер Кроули. Из «Исповеди» *215*

Василий Молодяков. Вирек и Кроули: необходимые пояснения *225*

Интервью

Адольф Гитлер: «Когда я встану во главе Германии» *233*

Зигмунд Фрейд против Сфинкса *243*

Хиршфельд: Эйнштейн секса *263*

ДЖОРДЖ СИЛЬВЕСТР ВИРЕК: ПОРТРЕТ В ВОДОВОРОТЕ ВЕКА[1]

Джорджа Сильвестра Вирека (1884–1962) называли «лучшим поэтом поколения» и «третьесортным Оскаром Уайльдом», «самым большим даром Германии Америке» и «нацистской проституткой». Первый американский декадент писал стихи, романы, «пьесы для чтения», исторические исследования и фельетоны, издавал и редактировал журналы, брал интервью, создал Американское поэтическое общество, водил дружбу с сильными мира сего и с изгоями, занимался пропагандой и сидел в тюрьме. В зените славы его новые книги выходили в лучших издательствах по обе стороны Атлантики, но сейчас это имя на слуху у немногих.

---

1 Источниками статьи, кроме прижизненных изданий Вирека, послужили книги: *Niel M. Johnson.* George Sylvester Viereck: German-American Propagandist. Urbana, 1972; *Elmer Gertz.* The Odyssey of a Barbarian: The Biography of George Sylvester Viereck. Amherst, 1978 – и материалы собрания автора, работающего над его жизнеописанием.

Внук кайзера, сын социалиста

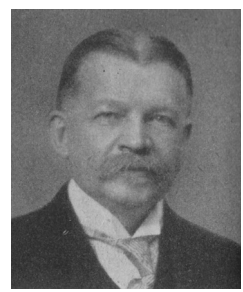
Георг Сильвестр Фирек, ставший позднее Джорджем Сильвестром Виреком, появился на свет в Мюнхене, вечером 31 декабря 1884 г. Георгом его назвали в честь принца Георга Прусского, Сильвестром – в честь «Сильвестрова вечера» – кануна нового года. Сам он предпочитал второе имя.

Отец будущего писателя Луи Фирек (1851–1922) в год рождения сына был избран депутатом рейхстага от социал-демократической партии. В феврале 1881 г. он женился на своей двоюродной сестре Лауре Фирек (1854–1935); посаженным отцом на свадьбе, состоявшейся в Лондоне, был Фридрих Энгельс. Фамилия «Фирек», заменяемая для конспирации знаком четырехугольника («viereck» по-немецки «четырехугольник»), не раз встречается в письмах основоположников марксизма. Упоминается в ней и нетипичное для социалиста происхождение: по общему мнению, Луи был незаконным сыном кронпринца Вильгельма, короля Пруссии с 1861 г. и кайзера объединенной Германской империи с 1871 г.

Фиреки перебралась в Германию из Скандинавии во время Тридцатилетней войны; достоверные сведения о них имеются со второй половины XVII в. Для Георга Сильвестра история семьи начиналась с бабки Юлианы Каролины Эдвины Фирек (1826–1856), первой красавицы берлинской сцены второй половины 1840-х годов. Современники больше ценили ее красоту и голос, чем актерский талант, но охоту критиковать отбивало покровительство короля Фридриха-Вильгельм IV и его младшего брата Вильгельма. Отцом Франца Георга Эдвина Луи Витольда Фирека записали Людвига фон Прилльвица – тоже внебрачного сына одного

из Гогенцоллернов. Кровь делала Луи потомком Фридриха Великого и отдаленным родственником Карла Великого, Фридриха Барбароссы и Марии Стюарт. Иностранные журналисты находили у депутата-социалиста «внешность Гогенцоллерна» и многозначительно замечали, что «его происхождение окутано тайной». Его сын на такие вопросы отвечал уклончиво, но подружившийся с ним в начале двадцатых годов кайзер Вильгельм II с улыбкой называл его «мой кузен».

Происхождение Лауры Фирек было не столь высоким, но романтичным. Ее отец Вильгельм, старший брат красавицы Эдвины, участвовал в революции 1848-1849 гг., после поражения которой бежал в Америку. Сестра спрятала его от полиции в камине своего дома, а затем помогла выбраться из страны; его племянница Эрна – тетка и первый литературный наставник будущего декадента – написала об этом пьесу. В Новом свете Вильгельм пережил много приключений, включая пребывание в индейском плену, и осел в Калифорнии, где основал первый немецкий театр. После его ранней смерти вдова с детьми вернулась в Европу.



Луи Фирек

Депутатскую карьеру Луи Фирека прервал арест в 1886 г. за участие в нелегальном собрании: в стране действовали бисмарковские «исключительные законы». За год в тюрьме, проведенный в обществе Августа Бебеля, он разочаровался в социализме и вообще в политике и, выйдя на свободу, занялся журналистикой. Выросший среди книг, рукописей, гранок, газет и журналов, Сильвестр рано на-

чал говорить, читать и писать и полюбил декламировать прочитанное, особенно стихи и монологи из пьес. Воспитывавшийся в окружении матери и теток, непрестанно баловавших его, Вирек – как фрейдист – позднее объяснял этим свое влечение, в том числе эротическое, к зрелым дамам: «Лет до тридцати почти все мои любовные романы были с женщинами старше меня. По всей вероятности, я искал в них замену матери».

10 Не нашедший на родине достойного – по его мнению – применения своим способностям, Фирек-старший решил попытать счастья в Новом свете, куда ранее перебрался его старший сын Франк, рожденный вне брака. В ноябре 1896 г. Луи переехал в Нью-Йорк, где занялся журналистикой и обустройством нового дома. 30 октября 1897 г. лайнер «Августа Виктория» доставил туда же Лауру с сыном, которые в сведениях о прибытии уже числятся гражданами США. Жизнь среди рукописей и корректур продолжалась, причем подросший Сильвестр не только помогал отцу вести корреспонденцию, но сам писал заметки и даже полноценные статьи в местную немецкоязычную прессу. 12 мая 1898 г. в нью-йоркской газете «Das Morgen Journal» появилось его первое стихотворение – патриотический отклик на войну с Испанией.

Английским языком младший Вирек, ставший «Джорджем», овладевал «с нуля». В школе он оказался никудышным учеником почти по всем предметам, но добился признания как поэт: класс доверил ему произнести благодарственную речь на церемонии выпуска и спел кантату на его слова. В сентябре 1902 г. его приняли в городской колледж Нью-Йорка. «Я ничему не научился и ничего не знал, – рассказывал он много лет спустя. – Мне

удалось окончить колледж благодаря силе обстоятельств и снисходительности учителей… Я провалился по физике, математике, начертательной геометрии и другим наукам, но заслужил – возможно, благодаря признанию моих литературных склонностей – такое же снисходительное отношение, какое сейчас колледжи проявляют к спортсменам. Однажды мне засчитали экзамен, на котором я, кажется, даже не присутствовал, за то, что я написал презрительный сонет об этом предмете».

Искушение декадентством

Тяга к словесности была у Джорджа Сильвестра в крови, но литературная ориентация оказалась неожиданной – по крайней мере, для родителей. Думаю, они все же не читали его повесть «Элеонора, или Автобиография вырожденки», написанную в шестнадцать лет и оставшуюся неизданной. Посвященный Эмилю Золя как автору «Нана» манускрипт на немецком языке содержал описание всех известных сочинителю – на тот момент из книг – форм разврата, через которые последовательно проходит героиня, чуждающаяся лишь «нормального» секса. Через полвека автор подарил «Элеонору» Альфреду Кинзи, в институте имени которого в Блумингтоне она хранится до сих пор.

В колледже Вирек приобщился к «тайнам пола» и к «цветам зла». Кумирами стали По, Бодлер, Россетти, Уайльд и Суинберн, по стихам которых он изучал английский язык и поэтическое мастерство; среди немцев он отметил лишь Гейне, Ницше и «лесбийскую» поэтессу рубежа веков Мари-Мадлен. «Уайльд великолепен, – записал юноша

в дневнике. – Я восхищаюсь им, нет, обожаю его. Он так утонченно нездоров, так изящно ужасен. Я люблю всё ужасное и порочное. Я люблю великолепие упадка, всю красоту разложения». Впечатлением на всю жизнь осталась встреча с лордом Альфредом Дугласом, который через тридцать пять лет в адресованном Вирeку инскрипте на сборнике своих сонетов упомянул «очень приятные воспоминания о нашей первой встрече в Нью-Йорке в 1901 году» а в письме к его биографу Элмеру Герцу назвал собеседника «необыкновенным, блестящим молодым человеком, с которым, несмотря на его возраст, можно было говорить о литературе и обо всем остальном».

Первая книга Вирека «Стихотворения» (Gedichte; 1904) на немецком языке увидела свет, когда автору еще не исполнилось двадцати. Восторженное предисловие к ней – по-английски – написал его ближайший друг, поэт и филолог Людвиг Льюисон. Дружба молодых людей, как писал биограф Вирека, стала «лирической, напряженной, трудной, слишком глубокой для спокойствия и благополучия обоих. Льюисон посвящал стихи беспечному юноше с золотыми волосами. Он воспевал его благосклонность. В самом подлинном смысле он был страстно влюблен в Вирека». Льюисон рассказал об этом в автобиографии «Вверх по течению» (1921): «Я оказался захвачен слепой и болезненной страстью. Все задавленные чувства моего мучительного отрочества, все мысли и поступки, скованные ложными ограничениями, зацвели теперь лихорадочным цветом. Была зима. Белая и тихая зима. Забавляясь причудливыми фантазиями, мы называли нашу страсть «розами в снегу». Я совершал все экстравагантные и нелепые поступки. Я ничего не знал о жизни, о челове-

ческой природе. <…> Страсть была порочной и причинила мне неописуемые мучения, но, по счастью, оказалась смешанной с любовью к литературе и со жгучим, хотя и не всепоглощающим увлечением. В ней не было ничего ни от падения, ни от вырождения. Я не горжусь ей, но и не стыжусь ее. Оглядываясь назад, я вижу, что она странными нотами вплелась в неизбежную музыку жизни – ни хорошую, ни плохую, ни правую, ни неправую. Теперь мы оба женаты и, встречаясь как добрые друзья, с улыбкой вспоминаем прошлое – настолько давнее, что оно кажется сказкой, – когда мы причиняли друг другу радость, боль и слезы».

Успех сборника, который автор сам рассылал в газеты и журналы, превзошел ожидания: в приложении к следующей книге он привел 25 хвалебных отзывов из американской и германской прессы. Многих удивляло, почему в немецких стихах не заметно влияние немецкой поэзии, зато заметно влияние англоязычной, но Вирек был английским декадентом, пишущим по-немецки. Дебютанта оценили самый знаменитый немец Нового света – гарвардский профессор психологии Гуго Мюнстерберг, «критик всех искусств» Джеймс Хьюнекер, филологи Джеймс Вудбери, Кельвин Томас и Уильям Трент. Очарованный юным дарованием, «немецкий Мольер» Людвиг Фульда устроил издание его следующей книги «Ниневия» (Niniveh und andere Gedichte; 1906) в известном издательстве «Cotta». Несмотря на похвалы таких писателей, как Герман Зудерман, она не стала событием. Для Европы подобные «откровения» были пройденным этапом, а необычность того, что автор-немец живет за океаном, не действовала: книга вышла в Штутгарте и воспринималась как «изделие местного производства».

Осознав, что великим немецким поэтом ему не сделаться, – на меньшее он не соглашался! – Вирек в 21 год перестал писать на языке предков и окончательно перешел на английский, не без кокетства заявив: «Было время, когда я колебался между двумя литературами. Я советовался с друзьями по обе стороны океана, и они в конце концов согласились, что Америка, будучи беднее Европы, больше нуждается во мне. Я решил стать американским классиком».

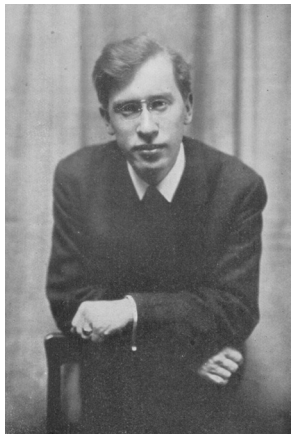
Первой книгой Вирека на английском языке стал сборник «пьес для чтения» «Игра в любви» (A Game at Love and Other Plays; 1906), в которых смешались влияния Метерлинка и Шницлера. Автор так объяснил свой замысел: «Я взял кульминационные моменты воображаемых новелл и облек их в драматическую форму. Это протест против психологического романа, который на протяжении шестисот страниц так ничего и не говорит». Редакторы смущенно хвалили тексты, но категорически отказывались публиковать их, пока Хьюнекер не убедил издателя Артура Брентано рискнуть. «Пьески, цинично показывающие жизнь под каким-то неестественным углом и умно, даже блестяще написанные», как оценил их Ричард Ле Гальенн, лондонский эстет «романтических девяностых», перебравшийся в Америку, были приняты без восторга, но благожелательно. Дебют в американской литературе состоялся.

Подлинный успех годом позже Вирeку принесла английская «Ниневия» (Nineveh and Other Poems; 1907). Только через четверть века автор раскрыл свою главную литературную тайну: половина стихов книги переведена с немецкого, причем не им самим, хотя переводными в ней названы лишь два второстепенных текста. Сборник

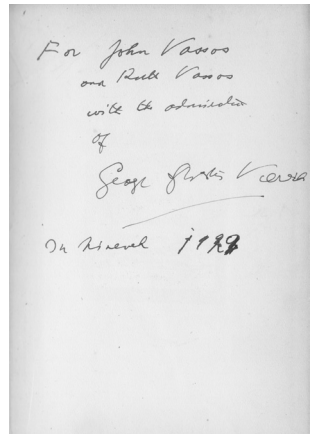
был встречен «гудением триумфальных труб, – писал Герц, – фанфарами оркестра Муз, достаточно громкими и долгими, чтобы показать подлинный масштаб Вирека. Они представили юного поэта двадцати двух лет от роду миру, который, как ни странно, ждал его… Вирека рассматривали как лидера поэтического ренессанса. Ни один поэт со времен Байрона не вызывал такой сенсации за одну ночь».

Первого американского декадента одни приняли восторженно, другие cum grano salis, отмечая, что время таких стихов уже прошло, но все – всерьез. Разобрав книгу, Артур Саймонс дал автору несколько советов: «Для меня она слишком экспрессивна, и в ней слишком сильно чувствуется Суинберн. Как образец он губителен. Уверен, вы вскоре стряхнете с себя его влияние. Надеюсь, вы также избавитесь от воздействия современного немецкого искусства, из-за чего вы предпочитаете звучную риторику более тонким качествам поэзии. Ваше незаурядное умение владеть ритмом еще не стало индивидуальным. Вы говорите, что стремитесь к новой форме. Это важно, но не думаю, что вы ее уже достигли. Впрочем, все подобные опыты полезны, поскольку однажды вы внезапно поймете, что создали нечто новое, не подозревая об этом». По мнению Чарльза Тауна, «как Уайльд избавил английскую драму от этики, так Вирек избавил американскую поэзию от морали». Айзек Маркоссон суммировал: «Вирек – самый обсуждаемый молодой литератор в Соединенных Штатах. Не каждое десятилетие кого-либо из молодых так единодушно обвиняют в гениальности. И Вирек от всего сердца соглашается с обвинителями». Джордж Сильвестр с гордостью цитировал эти отклики, не забывая добавить, что «Ниневия»

принесла ему деньги – декадентская книга в Америке начала XX века – выдержав три издания за два года.



Джордж Вирек после выхода «Ниневии».



Инскрипт художнику Джону Вассосу на «Ниневии»

Окрыленный успехом, Вирек ждал похвал «Дому вампира» (House of the Vampire; 1907) – «великому американскому роману», как без ложной скромности сам называл его. Успех оказался небезусловным (о восприятии книги смотри отдельную статью), однако именно этому произведению была суждена долгая жизнь. Полностью забытый с началом Первой мировой войны, «Дом вампира» всплыл в 1970-е годы на волне интереса к маргинальной литературе, а с начала 2000-х годов регулярно переиздается на языке оригинала и переведен на французский язык. Если филологи и культурологи сегодня вспоминают Вирека, то чаще всего как автора этой книги – «неизвестной классики фантастической литературы», как сказано в аннотации к французскому переводу.

Свидетельством славы автора «Ниневии» стало попадание в число персонажей романа «Столица» (1908) Эптона Синклера, американского Бобо-рыкина. Роман несколько раз выходил по-русски при жизни Вирека, но едва ли кто-то из читателей знал, с кого списан Стрэскона – «молодой поэт, певец сатанизма, произведения которого вызывали в городе (Нью-Йорке – В.М.) громкие толки». Вирек засвидетельствовал точность портрета, пояснив, что черные волосы и черные глаза героя – в жизни голубоглазого блондина – никого не вводили в заблуждение.

«Это был высокий стройный юноша с бледным лицом, меланхолическими черными глазами и длинными черными волосами, ниспадавшими ему на уши; в руках его были перевязанные алой лентой, исписанные бисерным почерком листки нежно-ароматной «художественной» бумаги. Возле него сидела девица в белом платье, и пока он читал по рукописи свои неопубликованные (за невозможностью их опубликовать) стихи, она держала перед ним зажженную свечу. В промежутках между чтением молодой поэт говорил… Мысли Стрэскона не имели в себе ничего определенного; это был беспорядочный набор афоризмов, кое-как склеенных вместе, чтобы ошеломить слушателя, упражнения в парадоксах, имеющие не большее отношение к жизни, чем имеет к ней фейерверк. Он брал общую сумму накопленного человечеством нравственного опыта, выворачивал его наизнанку и, все перемешав, как перемешивают в калейдоскопе осколки разноцветного стекла, подносил слушателям. А те, чуть дыша, восторженно шептали: «О, как это сатанично!»…

Потом Стрэскона обратился к литературе. Он отдал дань «цветам зла» и «песням перед рассветом»; но больше всего, по его словам, он был обя-

зан «божественному Оскару». Все нынешние поэты подражали его стилю и образу жизни; таким образом, на самые гнусные извращения накидывался покров романтизма, им давались длинные греческие и латинские имена, и о них рассуждали со всем парадом учености как о возрождении эллинских идеалов. Молодые люди из кружка Стрэскона называли друг друга «мой возлюбленный»; если кто-либо выражал при этом недоумение, на него смотрели не то чтобы с презрением – испытывать презрение считалось неэстетичным – а так, чуть приподняв бровь, что означало высшую степень иронии…

Чувствовалось, что дерзость оратора вызывает в собравшихся трепет восхищения, а хуже всего было то, что просто со смехом отмахнуться от всего этого было невозможно, ибо мальчик был несомненно поэтом – в его стихах были огонь, и страсть, и мелодичность. Ему исполнилось всего лишь двадцать лет, но за свою краткую, как полет метеора, жизнь он овладел всей гаммой людских переживаний, постиг все тончайшие движения человеческой души в прошлом, настоящем и даже будущем. О чем бы ни упомянули в его присутствии – его разуму все было доступно: и религиозный восторг святых, и исступленный экстаз мучеников – да, он понимал и это; но он погружался также и в бездны порока и блуждал по самым темным закоулкам преисподней»[1].

Вторая книга стихов Вирека «Свеча и пламя» (The Candle and the Flame; 1912), которой предшествовал сборник эссе о путешествии в Европу «Признания варвара» (Confessions of a Barbarian; 1910), совпала с началом «поэтического ренессан-

1 *Синклер* Э. Столица. М., 1957. С. 213-215.

са». Деятельный участник литературной жизни и один из создателей Американского поэтического общества, он, казалось, прочно утвердился на Парнасе в качестве новатора. «Большинство современных (американских – В.М.) стихотворцев отстает от Европы как минимум на одно поколение, – писал Джойс Килмер. – Выдающееся исключение – Вирек». «Он был самоуверенным и непослушным «золотым мальчиком», – вспоминала поэтесса Бланш Вагстафф в канун 70-летия старого друга. – Только что появилось его лучшее детище – «Свеча и пламя». Поэзия Вирека завоевала Нью-Йорк. Сумасброд – для глупцов, гений – для интеллектуалов. Яркий и загадочно очаровывающий, зловещий (поза!), смелый в речах и в стихах, он был прирожденным иконоборцем и одновременно классицистом, благодаря невероятным познаниям в области истории и искусства. Он обладал редким даром озарять всех, кого встречал. Его творческая энергия была заразительной, воображение – великолепным. Вирек был невысок, с золотыми волосами, одновременно задумчив и агрессивен, нежен и безжалостен, исключительно честен и при том уклончив, романтик и реалист. Он пылал внутренним огнем бесспорного гения. Став однажды другом, он оставался им навсегда. Одержимый эротикой, его ум был ненасытен, хотя он отличался – и отличается до сих пор – робостью и мягкостью юной девушки».

Сделал ли Вирек в новой книге «шаг вперед», милый сердцу критиков? Уильям Риди, ранее покровительствовавший автору, в статье «Лебединая песня Сильвестра Вирека» жестко заметил: «Его стихи страдают от того, что уже были написаны, – прежде всего, Суинберном, Уайльдом и Россетти».

Руки твоей целебная прохлада –
Для сердца ослабевшего отрада.
А губы лепестками алых роз
Меня ввергают в мир волшебных грез.
Но отблески страдания в глазах
В меня вселяют безотчетный страх.

Глаза сверкают мудростью веков,
Они горят лампадою во храме,
Где страждущий, под тяжестью оков,
Молитву шепчет бледными губами.
И воспаленные взирают очи
На хладный сумрак этой вечной ночи.

(перевод Андрея Гарибова)

Не заметить сборник известного и заботливо поддерживавшего свою известность поэта было невозможно, но молчание – хуже прямого порицания. По мнению Ле Гальенна, автор «увы, родился слишком поздно. За последние двадцать лет буржуазию так часто «эпатировали», она настолько объелась ужасов и привыкла к «странным грехам» порочных римских императоров, что ей смертельно надоели Содом и Гоморра, Лесбос и Саломея». Американская поэзия пошла по другому пути, и Вирекy грозила участь стать поэтом вчерашнего дня. Не принимая новшеств имажистов и считая свободный стих «уцененной прозой», он заявил в предисловии к «Свече и пламени»: «Я слишком обогнал процессию американской жизни, чтобы делать еще шаг вперед. Присев на обочине, я буду ждать, пока Америка догонит меня… Факел нашей лирики горит и будет гореть, когда я передам его в руки более юного поэта. Поэтическая молодежь Америки, эта книга – мой прощальный подарок тебе».

Подарок остался невостребованным. «Вирек был самым выдающимся американским поэтом между 1907 и 1914 гг., и хору граничащих с лестью восторгов, которыми встречались его книги, противостояло лишь несколько голосов, – констатировал позже Льюисон. – Как человек и художник он оказал раскрепощающее влияние на американскую жизнь и литературу. По его влиянию чуткий пророк должен был предсказать неизбежность многих перемен, которые вскоре наступили… К несчастью, поэтическая манера Вирека, в духе французских и поздневикторианских английских декадентов, уже тогда находилась на грани угасания и в последний раз засверкала в Америке и в нем. Сегодня трудно представить себе нечто более старомодное, чем звучная высокопарность стиха, публичное преувеличение собственных грехов и неуместное раскаяние». Назвав друга «самым влиятельным поэтом периода, непосредственно предшествовавшего расцвету нашей национальной выразительности», Льюисон видел в Вирeке не новатора, но завершителя переходного этапа. «Страстность, избыточность, аромат классицизма, романтичность, пылкая искренность, богатство эрудиции, подчеркнутое почтение к форме делали его одним из последних представителей «старого порядка», – отметила Вагстафф. – Его книги представляют безвозвратно ушедшую фазу здравомыслия и богатства поэтических образов, которых не видно в мире сегодняшней словесности».

Искушение политикой

Пишущие о Вирeке чаще вспоминают его как участника политических и пропагандистских баталий. Что привело декадента в мир Большой

Политики? Уже среди первых его поэтических выступлений были политические, начиная с отроческих стихов памяти Бисмарка в 1898 г. и гневного сонета 1903 г. против президента Теодора Рузвельта – «хвастливого тирана для малого дня», действия которого юный стихотворец считал недемократичными. Это не помешало их личному знакомству пять лет спустя. В начале 1910-х годов общение стало регулярным: экс-президент с похвалой отозвался о «Ниневии» и «Признаниях варвара» (где автор сравнил его с Цезарем) и поддержал своим авторитетом журнал «Обозрение двух миров» (Rundschau Zweier Welten), который Джордж Сильвестр выпускал в 1911-1912 гг. для германо-американской аудитории. Вирек в 1912 г. участвовал в предвыборной кампании «Тедди», пытавшегося вернуться в Белый Дом. Поэт-политик сделал фразу политика-поэта «Мы стоим в Армагеддоне и сражаемся за Бога» лейтмотивом стихотворения «Гимн Армагеддона», ставшего боевым кличем «прогрессистов». Рузвельт проиграл. О том, какой Армагеддон впереди, никто пока не догадывался.

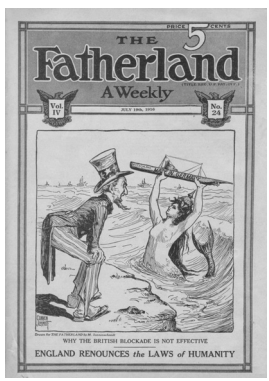
«Мировая война выманила меня с Парнаса. Я отдал десять лет творческой жизни – и ради чего? Чтобы остаться подстрочным примечанием в истории». Таким признанием Вирек начал книгу «Сеющий семена ненависти» (Spreading Germs of Hate; 1930) – хронику пропагандистских битв, в которых принимал непосредственное участие. В первые часы после объявления войны англичане перерезали германские телеграфные кабели, проходившие по дну Атлантического океана, физически отрезав Новый свет от одной из противоборствующих сторон. Устранив конкурентов, «союзники» завалили американскую прессу новостями

о своих победах (правда, там фигурировали только бельгийские и французские географические названия, но кто из американцев разбирался в них) и страшилками о «немецких зверствах». Неготовые к такому развитию событий и недооценивавшие значение пропаганды, немцы проиграли битву за умы американцев уже в первые недели конфликта. «В Германии не понимали, какую силу имеет в демократических странах общественное мнение, – признал посол в Вашингтоне Иоганн фон Бернштorф. – Утверждения врагов, что германская пропаганда в Соединенных Штатах была на самом деле организована за много лет до войны, и поэтому мы в 1914 г. имели в своем распоряжении готовую организацию с отделениями в каждой части страны, увы, лишены оснований». Единственное, на что оставалось рассчитывать, – удержать Америку от вступления в войну на стороне «союзников».

«Кайзеровский пропагандист» Вирек начал борьбу задолго до контактов с Берлином. Вечером 3 августа он собрал друзей и предложил «что-то предпринять для обеспечения «честной игры» в отношении Германии и защиты интересов американцев германского происхождения». 8 августа мальчишки-газетчики выкрикивали на улицах название нового еженедельника «Родина» (Fatherland). Джордж Сильвестр, бессменный издатель и редактор, вел текущую работу на пару с опытным журналистом Фредериком Шрадером. Острые материалы с претензией на сенсационность давали разоблачитель «тайн Уолл-стрита» Чарльз Колман, популярный в Старом свете автор «ужастиков» Ханс Эверс, поэт и публицист Шеймус О'Шил, английский прозаик Фрэнк Гаррис и даже «Зверь 666» Алистер Кроули. Вернувшийся

на родину незадолго до войны, Луи Фирек посылал корреспонденции из Германии. Военный атташе капитан Франц фон Папен, будущий «веймарский» канцлер и нацистский вице-канцлер, обозревал ситуацию на фронтах. Многочисленные профессора, в основном германо-американцы, писали обстоятельные ученые статьи. «Немцы были полностью глухи к тому, что призыв к разуму не тронет американцев, – заметил историк Хорас Петерсон. – Худшей чертой германских пропагандистов были занудство и скука. Они не пытались обратить в свою пользу любовь американцев к сенсациям. Они не взывали к эмоциям – ненависти, страху, любви, честолюбию. Они не плакали над женщинами и детьми, не делали из врагов злодеев, а из себя героев. Они даже не создали мученика».

Германо-американцы охотно субсидировали журнал, в котором «деньги кайзера» появились не ранее октября 1914 г. Позднее американские власти утверждали, что с августа 1914 г. по февраль 1917 г. Берлин израсходовал на пропаганду в США 35 млн. долларов. Историки считают оценку завышенной, но сталкиваются с трудностями при определении, что именно считать «расходами на пропаганду». Возглавлявшаяся Вирекомом «Fatherland Corporation» всего получила от немцев 100 тыс. долларов, плюс даровая рассылка журнала на тысячи адресов, включая всех членов Сената и Конгресса, плюс 40 тыс. долларов самому Джор-



джу Сильвестру. Кроме того, ему в течение двух лет ежедневно приходили по почте «от неизвестного психа из Техаса» чеки на миллион долларов с подписью «Вильгельм Гогенцоллерн», но обналичить их было сложновато…

Эти годы стали для Вирека школой практической политики: он сблизился с сенаторами, конгрессменами и общественными деятелями, выступавшими против участия Америки в войне и односторонней ориентации на «союзников». Польза была обоюдной: Вирек снабжал политиков, особенно провинциальных, свежей информацией, помогал им писать речи и статьи, предоставлял трибуну не только в своем журнале, ставшем одиозным, но и в нейтральных изданиях. Не пытаясь изображать беспристрастность, он настаивал, что его «стопроцентно американская» позиция диктуется интересами новой, а не старой родины. Некоторые знакомые, включая «Тедди» и Ле Галльена, разорвали с ним отношения. Однако меценатка Минни Унтермейер, украшением салона которой оставался Вирек, отчитала другого завсегдатая Уильяма Макаду, министра финансов и зятя президента Вильсона, за выпад против него: «Если вам не нравятся мои друзья, вам не следует приходить в мой дом». Джордж Сильвестр подарил ей сборник стихов «Песни Армагеддона» (Songs of Armageddon and Other Poems; 1916) «в память многих штормовых дней бурных лет».

До вступления США в войну положение Вирека оставалось формально безопасным; его деятельность не нарушала закон, хотя американские спецслужбы следили за ним с лета 1915 г. Разрыв дипломатических отношений с Германией в феврале 1917 г. вынудил к осторожности и побудил переименовать журнал в «Американский

еженедельник Вирека» (Viereck's: The American Weekly), который с сентября 1918 г. из-за недостатка средств превратился в ежемесячник. Вступление в войну в начале апреля 1917 г. означало, что ни о какой «прогерманской» пропаганде речи быть не может. Значит, усилия были напрасны? Политик Чарльз Нэйджел заметил: «Германия не использовала необходимые методы, чтобы убедительно донести свои доводы до цивилизованного мира. В нашей стране они не были полно изложены и беспристрастно рассмотрены». Противник устами британского разведчика Нормана Туэйтса назвал работу команды Вирека «отличной», добавив, что тот «порой неверно излагал события, часто был близок к истине и всегда заслуживал наблюдения». Сам Джордж Сильвестр считал, что «Германия недооценивала свою пропаганду и в апогее победы, и в перигее поражения. Однако германскую пропаганду в США нельзя признать неудачной, если ее целью было удержать Америку от войны – с августа 1914 г. по апрель 1917 г.».

Весной-летом 1918 г. власти провели расследование деятельности Вирека, выплеснувшееся на страницы газет и вызвавшее волну нападок и угроз, но не нашли ничего юридически наказуемого. Он сосредоточил усилия на защите репутации и интересов германо-американцев, а по окончании войны – на опровержении версии об исключительной виновности Берлина в ее развязывании, на критике Версальского «мира» и политики победителей. Кроме собственного журнала у него не было иной трибуны, пока газетный магнат Хёрст, противник участия США в войне, осенью 1922 г. не отправил его в Европу в качестве специального корреспондента.

Работа принесла Вирeку деньги и славу «интервьюера класса люкс», а его имя перестало быть «неупоминаемым». Репутация защитника «германского дела» открыла ему дорогу к ключевым фигурам поверженной империи Гогенцоллернов и республиканской «веймарской» Германии. Среди его собеседников были кайзер Вильгельм и его сын кронпринц Вильгельм, фельдмаршал Гинденбург, избранный в 1925 г. президентом, генерал Людендорф, «Зигфрид германских финансов» Яльмар Шахт, Томас Манн, Эйнштейн, Гауптман, Кайзерлинг, Хирфельд. К немцам он относил и австрийцев Фрейда, Штейнаха и Шницлера («еврейство» и «арийство» не имели значения). За пределами Германии коллекцию «охотника на львов» пополнили Муссолини, Клемансо, Бриан, маршалы Фош и Жоффр, Барбюс, Шоу, Маркони, Тесла, Генри Форд, папа Пий XI, великий князь Александр Михайлович и другие; сорвалось только со Сталиным. На фоне знаменитостей затерялось интервью, взятое весной 1923 г. у баварского агитатора-националиста Адольфа Гитлера, которым не заинтересовалось ни одно издание. Через девять лет Вирек вспомнил о нем и с небольшими изменениями перепечатал в журнале «Liberty», не уточняя, когда именно состоялся разговор. В наши дни этот текст переиздан в серии «Великие интервью XX века» и переведен на многие языки.

Искушение бессмертием

Важное место в творчестве Вирека межвоенных десятилетий занимали темы секса, бессмертия, вечной молодости и омоложения. Работам Штейнаха и Воронова – медицинского прототипа про-

фессора Преображенского – он посвятил много статей и книгу «Омоложение. Как Штейнах делает людей молодыми» (Rejuvenation. How Steinach Makes People Young; 1923; под псевдонимом «George F. Corners»), которую подарил своей секретарше с надписью: «Пусть вам это никогда не понадобится!». Подобно Тагору и Фрейду, Вирек сам подвергся «штейнахированию» (операция по перевязке семявыносящего протока для стимуляции пубертатной железы), и в 1940 г. выглядел на десять лет моложе «паспортных» 55 лет. Но главным увлечением стали психоанализ и «третий пол».

Читавший лекции в США в 1909 г. Фрейд три года спустя упомянут в автокомментариях к «Свече и пламени» как «великий психолог». Как заметил биограф нашего героя Нил Джонсон, «тем, кто, подобно Вирекy, провозгласил евангелие сексуальной свободы, фрейдизм предлагал научную респектабельность для того, во что они уже верили. Неудивительно, что, как только теории Фрейда стали лучше известны в Америке, Вирек оказался под впечатлением от системы, воздающей честь духу Эроса. Он был готов принять фрейдовскую посылку, что сексуальная энергия либидо заключает в себе господствующую и первичную жизненную силу, а от нее происходят вторичные силы, которые формируют человеческое поведение». В 1918 г. Вирек напечатал в своем журнале фрагменты работы Фрейда «Размышления о войне и смерти», назвав его «великим учителем, объяснившим противоречивые импульсы в нашей природе», а в книге «Рузвельт: исследование амбивалентности» (Roosevelt: a Study in Ambivalence; 1919), посвященной (психо)анализу своих отношений с «Тедди», прямо объявил себя фрейдистом.

Личное знакомство Вирека с Фрейдом состоялось зимой 1922/23 г. в Вене. Взятое им «первое интервью Фрейда о психоанализе», опубликованное в августе 1923 г., стало событием для Америки. Ученый одобрил присланный текст – пересказ основных положений его учения, обильно сдобренный комплиментами, – и книгу о Штейнахе как удачный опыт популяризации. Джордж Сильвестр стал апостолом «Колумба бессознательного», возгласив с жаром неофита: «Каждый, кто судит о жизни и литературе, должен быть психоаналитиком». Он применял учение и метод Фрейда к анализу таких разных явлений, как трагедия Суинберна «Аталанта в Калидоне», мотивами поступков действующих лиц которой объявил различные формы сексуального влечения вплоть до инцеста, и уголовное «дело Леопольда и Лёба»: юноши из богатых еврейских семей похитили и убили 14-летнего сына миллионера, поскольку считали себя суперменами, но их быстро арестовали, уличили в содеянном и приговорили к пожизненному заключению. Вирек объяснил действия Лёба, инициатора преступления, «садистским» импульсом, а Леопольда – «мазохистским», направленным на саморазрушение: «Если бы Лёб или Леопольд смогли очиститься от накопившейся внутри скверны, признавшись понимающему врачу души или тела, то, по всей вероятности, можно было остановить или преобразовать извращенные, смертоносные инстинкты, которые с непреодолимой силой толкнули их к трагедии и преступлению. Психоанализ очистил бы юных богачей умственно и эмоционально, прежде чем яды внутри них – яды, которые потенциально есть в каждом из нас, – разрушили окончательно их психическую и нравственную жизнь».

Фрейд одобрил такую трактовку и собирался доверить Вирeку написание общедоступного изложения психоанализа для американцев, но замысел не был реализован. Летом 1926 г. Джордж Сильвестр записал новую беседу с ним, которую включил в сборник интервью «Блики великих» (Glimpses of the Great; 1930). Однако после начала сотрудничества Вирека с нацистской пропагандой, ученый разорвал с ним «дипломатические отношения».

Если Фрейд и Штейнах казались небожителями, то Хиршфельд, которому некогда покровительствовал папа Фирек, – стал старшим другом Джорджа Сильвестра, упомянувшего его как «известного невролога» в автокомментариях к «Свече и пламени» в связи с учением о «промежуточном поле». После личного знакомства зимой 1922/23 г. общение стало регулярным, «материализовавшись» в нескольких статьях и интервью. Зимой 1930/31 г. Вирек освещал в прессе лекционное турне «Эйнштейна секса» по США, которое организовал их общий друг сексолог Гарри Бенджамин. Джордж Сильвестр пытался помочь Хиршфельду, когда пришедшие к власти нацисты разгромили Институт сексуальных наук. «Я ужасно пострадал, наш прекрасный институт официально закрыт, большая часть книг и коллекций уничтожена, – писал ему ученый из Парижа 9 июня 1933 г. – После нашей встречи в Нью-Йорке я больше не возвращался в Германию, чувствуя неладное. После сожжения моих книг на костре я предпочел отправиться во Францию». «Ваши книги сожжены вместе с прочими», – добавил он.

Многие годы Вирек мечтал написать роман, который обессмертил бы его имя или, по крайней мере, поставил бы в один ряд с «настоящими писателями». Героем был выбран Вечный Жид – но

не Агасфер предания или классической литературы, бесприютный старец, молящий о смерти как об избавлении, а вечно юный, полный сил человек, не знающий не только смерти, но старости и немощей. Несколько издателей отвергли рукопись как недостаточно «коммерческую» и посоветовали найти соавтора из бойких беллетристов. Таковым оказался Пол Элдридж, вместе с которым Вирек написал четыре романа, включая трилогию «Мои первые 2000 лет. Автобиография Вечного Жида» (My First Two Thousand Years: The Autobiography of the Wandering Jew; 1928), «Саломея, Вечная Жидовка: Мои первые 2000 лет любви» (Salome, the Wandering Jewess: My First 2,000 Years of Love; 1930) и «Непобедимый Адам» (The Invincible Adam; 1932).

Первый роман начинается с того, что в монастырь на Афоне приезжает Исаак Лакедем, человек неопределенного возраста и национальности, в сопровождении «восточного» слуги по имени Котикокура. Настоятель пригласил его, чтобы познакомить с двумя психоаналитиками, которые погрузили гостя в гипнотический сон. Под гипнозом он рассказал, что был офицером стражи Понтия Пилата, носившим среди римлян имя Картафилус, тем самым, который не дал Иисусу отдохнуть по пути на Голгофу и услышал: «Ты будешь вечно скитаться, пока я не вернусь». Картафилус «законсервировался» в своем возрасте и теле, поэтому был вынужден периодически менять место жительства, чтобы не вызывать подозрений вечной молодостью. Он переводил стихи Нерона, ассистировал магу Аполлонию, курил трубку с Аттилой, излечил Карла Великого от боли в ноге, участвовал в крестовых походах, финансировал экспедицию Колумба, уличил Дон Жуана в нарциссизме и еще одного «Вечного Жида» в са-

мозванстве. Он беседовал о поэзии с Ду Фу, о религии с Мухаммедом и Лютером, о философии с Фрэнсисом Бэконом и Спинозой. Папа Александр VI Борджиа уверял его, что Иисус – легенда, равно как и крестоносец «граф Картафил», о котором говорится в старинных хрониках. Петр Великий в Голландии крестил его и нарек князем Даниилом Петровичем (именно Картафилус посетовал создать новую столицу на Балтике и упразднить патриаршество), а его спутника Котикокуру – князем Самсоном Романовичем. Поведав свою историю, Исаак незаметно исчез.

При всей любвеобильности Картафилусу требовалась «подруга вечная» из того же «теста», умная, понимающая, влекущая и… недоступная. Ей стала Саломея, внучка царя Ирода, проклятая вечной молодостью и вечным бесплодием, хотя и свободная от «тирании Луны». На протяжении веков главные герои периодически встречаются, но Саломею судьба сводит, в основном, с женщинами: царицей Пальмиры Зенобией, «папессой Иоанной» (которую она возвела на престол), Жанной д'Арк, «королевой-девственницей» Елизаветой Английской (которая оказалась «ни мужчиной, ни женщиной») и Екатериной Великой (которую она убеждала ради блага страны лишить Потемкина власти). Она даже правила африканским племенем, установив в нем матриархат. «Я всегда был защитником прав женщин»,– напомнил Вирек.

Котикокура – полуобезьяна-получеловек или «пропущенное звено» между ними – тоже оказался бессмертным и за века общения с Картафилусом настолько цивилизовался, что мог выступать в качестве барона-рыцаря или аристократа лорда Котесбюри. Периодически расставаясь с хозяином, он скитался в джунглях, встречался с Микеланджело (который лепил с него Давида), Руссо

(которого он вернул к природе) и маркизом де Садом, штурмовал Бастилию и был исключен из большевистской партии в Советском Союзе. Авторы назвали его «вечным юношей двадцати лет, всегда страстным, всегда мятежным, всегда колеблющимся между поклонением герою и женщине, хвастуном и ребенком», который «должен быть одновременно богом и обезьяной».

О романах положительно отозвались Томас Манн, Гертруда Эзертон, Герман Зудерман, а также синклит психоаналитиков и сексологов – Хиршфельд, Штейнах, Брилл, Штекель, Эллис. Только Фрейд отказался высказаться публично, заявив, что не берется судить о литературном произведении, а «симпатия к автору может исказить оценку». В коммерческом отношении трилогия оказалась самым долговечным детищем Вирека. На ней же основывалась известность Элдриджа, который открывал ей списки своих сочинений, но «забывал» упомянуть соавтора, когда тот сидел в тюрьме. Элдридж умер в 1982 г. в возрасте 94 лет, когда его собственные книги уже давно были забыты.

Работа над трилогией подвигла Вирека к масштабному самоанализу, результатом которого стало собрание стихотворений с автокомментариями «Плоть и кровь моя. Лирическая автобиография с нескромными примечаниями» (My Flesh and Blood. A Lyric Autobiography with Indiscreet Annotations; 1931).

Это жизнь моя. Я постелил себе эту постель.
В изголовье – приаповы розы, рожденные жаждой,
Чтоб отточенный шип – когда роза увянет однажды –
Продолжал, обжигая, умы распалять, как теперь.

(перевод Марины Гарбер)

Литераторы восприняли книгу как подведение итогов и памятник ушедшей эпохи. Медикам и психологам она понравилась больше. Бенджамин писал автору: «Сочетание выдающихся дарований поэта и писателя со знанием биологии, эндокринологии и психоанализа делают твою книгу для меня, несомненно, самой увлекательной автобиографией из всех когда-либо написанных… Сексолог найдет анализ будящим мысль, даже если не согласится с некоторыми выводами. Книга вызовет разные эмоции. Главная – зависть к богатству твоей эмоциональной жизни. Ты один из немногих счастливцев, кто сделался господином собственной сексуальности, а не ее рабом».

В автокомментариях к «Плоти и крови моей» Вирек много рассуждал о сексуальности, вспоминая не только пикантные эпизоды собственной юности, но и утверждая, что «каждому человеческому существу анатомией и психической наследственностью предопределено быть бисексуальным», а потому «только природная бисексуальность человека позволяет одному полу понять другой». Повторяя вслед за Суинберном, что «все великие поэты бисексуальны», свою душу Джордж Сильвестр считал «мужской, несмотря на женские компоненты и странные колебания между двумя полюсами полового влечения».

При этом пропагандист свободной любви и охотник порассуждать о «третьем поле» с 1915 г. был счастливым и верным мужем Маргарет Хайн, моложе его на 12 лет, и отцом двух сыновей – Питера Роберта Эдвина и Джорджа Сильвестра-младшего, родившихся в 1916 и 1918 гг. «Не рисуйте Вирека Дон-Жуаном, – предостерегал его биографа общий знакомый. – Это верный муж, который любит свою семью и гордится успехами сыновей

в школе». Сказанное было велено держать в тайне от героя, которому нравится «автопортрет со множеством тщательно культивируемых грехов».

Джереми О'Лири, Гертруда О'Лири, Маргарет Вирек, Джордж Вирек. Публикуется впервые

Искушение тоталитаризмом

В истории XX в. Вирек остался как пропагандист Третьего Рейха и обличитель коммунизма. И то, и другое верно, но нуждается в уточнениях.

Как заметил его биограф Нил Джонсон, «Вирека мало волновала система управления государством, но интересовала личность вождя. Динамичный лидер неизменно привлекал его. Когда в 1924 г. Ленин умер, Вирек посвятил ему панегирик в своем журнале: «К лучшему или к худшему, но Николай Ленин, более чем кто бы то ни было из большевиков воплощавший в себе Советскую Россию, проявил себя как величайшая фигура в человеческой истории после Наполеона». Однако, заявил он, признание величия Ленина не означает согласия с ним в области экономики».

Летом 1929 г. Вирек съездил в Москву, рассчитывая взять интервью у Сталина и Крупской («мадам Ленин») и заработать на этом. Его ждало жестокое разочарование: пришлось довольство-

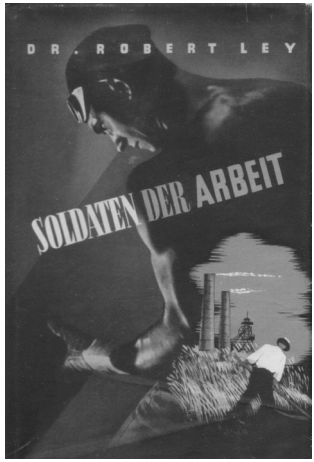
ваться заместителем наркома по иностранным делам Львом Караханом и руководителем РОСТА Яковом Долецким, которые для американского читателя интереса не представляли и гонорара не принесли. Не поэтому ли он так возненавидел коммунистов? Результатом вояжа стали серия очерков о «пленниках утопии» в «Saturday Evening Post» и саркастическая глава в «Непобедимом Адаме» о том, как исключенный из партии «пролетарий Котикокура Катафович» бежит из большевистского рая. На вопрос Элмера Герца: «К какой форме общества вы испытываете наибольшую антипатию?» – Вирек уверенно ответил: «К диктатуре пролетариата. Я не люблю ульи и муравейники. Люди могут прожить при любой форме правления, но если выбор остается, то мой – не в пользу коммунизма». «А выбор остается?». «Возможно, нет. Коммунизм, как и другое зло, может оказаться неизбежным. Фашизм тоже может быть неизбежным злом в чрезвычайной ситуации. Но всё это не для меня».

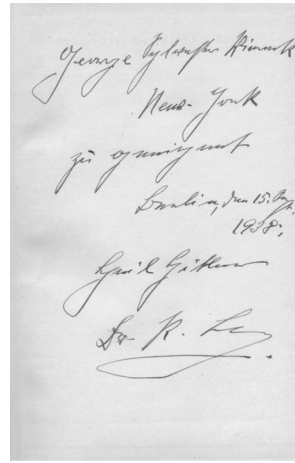
Антибольшевистские высказывания Вирека сказались на его репутации. На протяжении почти всех межвоенных лет леволиберальный американский мейнстрим занимал прокоммунистические и просоветские позиции, а служившие его рупором нью-йоркские еженедельники «Nation» и «New Republic» влияли на общественное мнение всей страны, так как немалую часть их аудитории составляли редакторы, журналисты, литераторы и педагоги, транслировавшие эти идеи дальше. Между ними и коммунистическими изданиями существовало «перекрестное опыление»: партийным агитаторам были открыты журналы мейнстрима, благодаря которым их взгляды приобретали не только дополнительную аудиторию, но

и определенную респектабельность. Более того, коммунисты убедили многих либералов в правильности коминтерновских определений «фашизма» и в тождестве «антифашистского» и «демократического», объявив всё некоммунистическое «потенциально фашистским».

Решив дать бой, антикоммунисты в 1930 г. добились создания в Конгрессе комитета для расследования деятельности «красных». Его глава Гамильтон Фиш в 1933 г. высоко оценил цикл статей Вирека «Сеть красного паука» о мировом коммунистическом движении, руководимом и финансируемом из Москвы, и участвовал в распространении английского перевода книги нациста Адольфа Эрта «Коммунизм в Германии»; ввоз ее тиража в Америку был оформлен Виреком и вызвал шумную кампанию коммунистической прессы. Поздравляя «товарища по борьбе» с 70-летием, Фиш отметил: «Вы давно предвидели опасность русского коммунизма», но предпочел не упоминать «неудобную» фамилию в послевоенной публицистике и мемуарах.

Что побудило Вирека поддержать нацистский режим? «Я готов сотрудничать с любым германским правительством, пока оно выражает волю германского народа», – писал он отцу в мае 1920 года. Веймарскую Германию пиар не интересовал, и Джордж Сильвестр занимался реабилитацией «фатерлянда»: в статьях, интервью с «великими немцами» и книге «Кайзер под судом» (The Kaiser on Trial; 1937) – исключительно по собственной инициативе. Приход нацистов к власти в январе 1933 г. и «национальное пробуждение» воодушевили Вирека, который сформулировал свою позицию в речи на митинге «друзей новой Германии» 17 мая 1934 г.: «Как бы мы ни относились к Гитле-





Роберт Лей. Солдаты труда.
Суперобложка и дарственная надпись Вирекy

ру, нет сомнения в том, что у Германии не было другой альтернативы: Гитлер или хаос». По собственной инициативе он вступил в борьбу против экономического бойкота Третьего Рейха, который в марте 1933 г. объявили еврейские организации. Вирек пытался побудить консервативные еврейские круги к диалогу с Берлином, а нацистов – сначала через Папена и Шахта, затем во время личных встреч с верхушкой режима, включая Гитлера, в августе-сентябре 1933 г., – к смягчению преследования евреев. Ни в том, ни в другом он не преуспел, равно как и не заинтересовал президента Франклина Рузвельта перспективой повлиять на фюрера через свое личное посредничество.

Потерявший почти все сбережения во время Великой депрессии, Вирек весной 1933 г. принял предложение германского генерального консула в Нью-Йорке Отто Кипа (впоследствии казненного за участие в антигитлеровском заговоре) стать

его платным консультантом, но работа продолжалась лишь несколько месяцев. Затем он устроил нью-йоркскому рекламному агентству Карла Байора выгодный контракт с Информационным бюро германских железных дорог – главным государственным туроператором, заграничная деятельность которого подчинялась министерству пропаганды, за что получил 15% комиссионных (1750 долларов в месяц). Информация попала в леволиберальную и коммунистическую прессу, раздувшую шумиху вокруг «нацистских агентов», и стала предметом разбирательства в Конгрессе летом 1934 г.

Такая деятельность не противоречила законам, поэтому «оргвыводов» не последовало, но получившая огласку пропаганда стала неэффективной. Берлин разорвал контракт с Байором, а Байор – с Виреком, который прекратил сотрудничество с представителями Рейха, возобновив его лишь осенью 1939 г. Он ежегодно ездил в Европу, общался со знакомыми нацистами, бывал на партийных съездах в Нюрнберге, но редко делился впечатлениями. Журналистика оставалась главным источником заработка, но Вирек предпочитал неполитические темы – бизнес и здравоохранение, сексология и омоложение, перспективы телевидения и здоровый образ жизни.

Тоталитаризм стал главной темой притчи «Искушение Джонатана» (The Temptation of Jonathan; 1938). Изящно одетый незнакомец несколько зловещего вида, встретив голодного и разочарованного молодого безработного по имени Джонатан, заводит того на крышу небоскреба и показывает ему через подзорную трубу – не выпуская ее из рук! – дальние страны, в которых легко узнаются гитлеровская Германия и сталинская Россия.

Джонатану импонируют сцены радостного коллективного труда и счастливого отдыха, но, выхватив трубу из рук незнакомца и начав смотреть самостоятельно, он видит расстрелы, костры из книг, толпы сосланных и изгнанных. Искуситель оказывается – если кто не догадался – Сатаной, которого теперь зовут Тото – от «тоталитаризм»». Прозревший юноша призывает Богиню Свободы, от одного имени которой Тото исчезает. Факел в руке появившейся ниоткуда богини освещает неприглядные картины жизни в Америке, однако она обещает Джонатану – если тот будет честно трудиться! – исправить положение и получить всё хорошее из того, что показал ему Тото, «не воруя, не обманывая и не продавая душу Дьяволу». Вдохновленный ее словами юноша вспоминает пионеров освоения Нового света и чувствует прилив сил. Не зря издатель рекламировал этот текст как «Евангелие подлинного американизма».

Опубликованное три года спустя эссе «Семеро против человека» (Seven Against Man; 1941) показало, что позиция автора заметно изменилась. «Семь мятежных духов нанесли человеческому сознанию раны, которые могут оказаться смертельными: Галилей, Лютер, Руссо, Дарвин, Маркс, Фрейд, Эйнштейн», – заявил былой апологет свободомыслия, психоанализа и теории относительности: «Галилей лишил человека достоинства, Лютер – морального закона, Руссо – дисциплины, Дарвин – божественности. Маркс поставил под угрозу собственность. Фрейд убил любовь. Оставался один мост в бесконечность, один выход – абстрактная наука. Пришел Эйнштейн, и всё стало «относительно»», – суммировал Вирек, хотя сам Эйнштейн предупреждал его против подобной трактовки. Воздав хвалу национал-социализму

(с оговоркой, что это не «всеобщая панацея») и Гитлеру – «самому динамичному воину, государственному деятелю и законодателю нашего времени, если не всех времен», автор счел нужным заявить: «Коллективизм как конечная цель несовместим с человеческим достоинством. Коллективизм, если только он не примет неведомые сейчас формы, означает конец любого прогресса и низводит человека до состоянии насекомого, которое не изменится за миллионы лет и которое платит за упорядоченную жизнь полной потерей индивидуальности».

К моменту написания эссе Джордж Сильвестр уже сделал выбор и сжег мосты. Весной 1939 г. редакция журнала «Liberty» – его основного «кормильца» – ультимативно потребовала публично осудить нацистов и поддержать «Новый курс». Вирек отказался и остался без работы, но летом, во время поездки в Европу, работа нашлась. 20 июля он подписал контракт с мюнхенской газетой «Muenchner Neueste Nachrichten» и стал ее корреспондентом с жалованьем 500 долларов в месяц, за что должен был готовить еженедельные обзоры ситуации и дайджесты американской прессы и не реже раза в месяц присылать статьи на политические и экономические темы. 27 сентября Вирек заключил договор с Германской информационной библиотекой, созданной в 1936 г. при генеральном консульстве в Нью-Йорке, обязавшись за 500 долларов в месяц составлять и редактировать еженедельный информационный бюллетень «Facts in Review». Оба контракта были зарегистрированы в Госдепартаменте. С этого момента Вирек официально стал пиарщиком Третьего Рейха, хотя, вероятно, понимал, что это означает конец его репутации как независимого и все еще уважаемого писателя и журналиста.

Как ни оценивать эту работу, она протекала в рамках закона. Однако Вирек не ограничился журналистикой и развернул бурную деятельность на Капитолии среди так называемых «изоляционистов», точнее «антиинтервенционистов» – противников курса Рузвельта на участие в войне на стороне Англии и Франции[1]. Его задачей было – как и за четверть века до того, но в несравненно более сложных условиях, – на время удержать США от вступления в войну или хотя бы от оказания военной помощи Лондону и Парижу.

Прорузвельтовская, леволиберальная и коммунистическая пресса называла изоляционистов «пособниками агрессоров», ссылаясь в том числе на их близость с «платным нацистским агентом». Понимая уязвимость своего положения и одиозность репутации, Вирек сотрудничал с ними на условиях строгой конфиденциальности. Он готовил статьи и речи для сенаторов и конгрессменов, передавал им материалы для включения в стенограммы, оплачивал выпуск оттисков их выступлений в десятках тысяч экземпляров по низким государственным расценкам и бесплатно рассылал их по всей стране, пользуясь почтовой привилегией Конгресса. С юридической точки зрения и это не нарушало закон. Вирек еще в книге «Сеющий семена ненависти» указал на удобство почтовой привилегии для ведения пропаганды, но сенаторам и конгрессменам следовало поставить в вину то, что они отдали предоставленное им право в руки агента иностранной державы. Предание

---

1 Подробное, хотя и тенденциозное описание этой деятельности: *Сейерс М., Кан А.* Тайная война против Америки. М., 1947. Гл. 8-9; в переводе книги Вирек именуется «Фиреком».

гласности этих фактов в ходе судебного расследования в 1941-1942 гг. не только отправило Вирека в тюрьму за сокрытие истинного характера своей деятельности, но и поставило крест на политической карьере его партнеров – сенаторов Бёртона Уилера, Джеральда Ная, Роберта Рейнольдса, конгрессменов Гамильтона Фиша, Стивена Дэя и других, лишившихся мандатов на очередных выборах.

3 октября 1941 г. Вирека вызвали в суд для дачи показаний о нацистской пропаганде. 8 октября он был арестован и получил обвинительное заключение. Не признав вину, он внес залог и в тот же день вышел на свободу – как оказалось, не надолго. Слушание дела началось 16 февраля 1942 г., после нападения Японии на Пёрл-Харбор и вступления США в войну с Германией. Несмотря на выступления сенаторов и конгрессменов в его защиту, исход был предрешен. Признанный виновным, Вирек 13 марта был приговорен к тюремному заключению на срок от восьми месяцев до двух лет по каждому из трех пунктов обвинения – максимальное предусмотренное законом наказание.

Смех в аду

В 57 лет Джордж Сильвестр, привыкший к богатой комфортабельной жизни и светскому обществу, впервые очутился в тюрьме, среди мошенников, насильников и убийц, с которыми ему пришлось провести пять лет «в условиях полного социального равенства». Об этом «невольный пансионер дяди Сэма», рассказал в записках, красноречиво названных «Превращая людей в скотов» (Men Into Beasts; 1952), и в романе «Ничто человеческое» (All

Things Human; 1949), заглавие которого отсылало к фразе Теренция: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо».

Вслед за репутацией и положением в обществе Вирек лишился семьи и денег. Желая искупить грехи осужденного мужа, Маргарет распродала их имущество, раздала вырученное благотворительным организациям и поселилась в католическом монастыре. Сыновья, закончившие до войны Гарвардский университет, не разделяли взглядов отца и, тем более, не симпатизировали его деятельности. В 1941 г. Питер выпустил антинацистскую книгу «Метаполитика. От романтиков до Гитлера», которая зафиксировала их идейный разрыв, и подарил ее отцу с «определенно смешанными чувствами, но с неизменной любовью». В 1942 г. оба сына ушли добровольцами в армию. Джордж Сильвестр-младший погиб в Италии в 1944 г. в боях с нацистами. Питер прожил почти девяносто лет: стал известным поэтом и политическим мыслителем, дважды получил Пулитцеровскую премию, был знаком с Анной Ахматовой, Михаилом Зенкевичем и Константином Симоновым и помог «трудоустроить» в Америке Иосифа Бродского.

Ссылаясь на предвзятость со стороны обвинения, адвокаты добились пересмотра вердикта. 1 марта 1943 г. Верховный суд отменил приговор из-за допущенных при разбирательстве ошибок, и 5 марта Вирек вышел на свободу. Однако генеральная прокуратура уже приготовила новое обвинение против него, сделав акцент на тайной лоббистской и пропагандистской деятельности в пользу Германии и на умышленном сокрытии ее подлинного характера. Через три недели Вирек снова был арестован и выпущен под залог до суда, начавшегося 21 июня. 31 июля его приговорили к

заключению на срок от одного до пяти лет (при возможном максимуме в 12 лет) с отбыванием в тюрьме Атланты для опасных преступников – вроде сидевшего там четвертью века ранее Юджина Дебса, лидера социалистов и друга Вирека. 27 марта 1944 г. Верховный суд отказал в пересмотре дела, но Джорджа Сильвестра ждало еще одно появление на публике.

С 1942 г. министерство юстиции готовило показательный процесс по делу группы одиозных и крикливых, но маловлиятельных противников режима из числа ультранационалистически, пронацистски и антисемитски настроенных публицистов и агитаторов, которых обвинили в «подрывной деятельности». Из 28 подсудимых только двое: Вирек и политический аналитик Лоуренс Деннис – до войны имели заметное положение в обществе. Остальные производили не столько зловещее, сколько трагикомическое впечатление, но преданные гласности факты знакомства и контактов с ними сенаторов и конгрессменов из числа изоляционистов должны были нанести противникам Рузвельта смертельный удар на приближавшихся выборах. Обвинение оказалось уязвимым, поэтому начавшийся 17 апреля 1944 г. процесс развалился за полгода. Разбирательство было прекращено без вынесения вердикта, но достигло главной цели, дискредитировав изоляционистов. Вирека отправили «досиживать».

В мае 1947 г. 62-летний Джордж Сильвестр вышел на свободу, сумев сохранить неплохое здоровье, бодрость духа и чувство юмора. Написав в тюрьме роман и много стихотворений, он надеялся вернуться в литературу. «Ничто человеческое» удалось напечатать в США два года спустя под псевдонимом «Стюарт Бентон»; годом позже ро-

ман появился под именем автора в британском издательстве «Duckworth», публиковавшем Вирека до войны. Оба издания прошли незамеченными. Больший успех выпал на долю тюремных мемуаров, выпущенных в мягкой обложке в 1952 и 1956 гг. общим тиражом полмиллиона экземпляров. Интерес вызвали не бегло изложенные судебные злоключения автора, но сцены гомосексуального быта тюрем и издевательств над заключенными, которые автор описал честно и ярко, но без нагнетания ужаса и позы мученика и совсем без «политики».

Вирек не остался без друзей. В тюрьме он переписывался лишь с узким кругом лиц, боясь бросить на кого-либо тень, но, выйдя на свободу, возобновил общение с сыном Питером, Льюисоном, Бенджамином, Герцем, Деннисом, поэтами Бланш Вагстаф и Джоном Уилоком, историками Гарри Барнесом и Чарльзом Тэнзиллом. Среди его знакомых по-прежнему было много людей из праворадикальных и неонацистских кругов, но сам Джордж Сильвестр о своем нацистском прошлом предпочитал не вспоминать и сторонился политической деятельности.

В канун своего 65-летия Вирек сообщил в интервью старому приятелю Гарри Гэббету (позднее издавшему «Превращая людей в скотов»), что остается «поэтом страсти», написал много стихов, которые никто не хочет публиковать, и работает над эротическим романом. Он и после Второй мировой войны, когда американская поэзия, по чьему-то остроумному замечанию, «скатилась в верлибр», продолжал сочинять сонеты и критиковал за непонятность стихи Питера, которого критика считала чуть ли не классицистом. Тюремные стихи, составившие сборник «Смех в аду», так и

не вышли отдельной книгой. Только легендарный издатель Сэмюэль Рот в 1953-1955 гг. опубликовал несколько подборок в ежеквартальнике «American Aphrodite». Рот считал себя поборником свободы слова и борцом против ханжества; враги называли его «порнографом» и «пиратом»; власти преследовали и периодически сажали в тюрьму. Рот также пригласил Вирека на страницы своего журнала «Good Times», балансировавшего, по понятиям того времени, на грани порнографии. Джордж Сильвестр писал для него рецензии на новые книги, так или иначе связанные с «вопросами пола» (ныне почти все они благополучно забыты).

Короткий «эротический роман», вышедший в Англии под заглавием «Глория» (Gloria; 1952), а в США – «Обнаженная в зеркале» (The Nude in the Mirror; 1953, 1959), стал последней книгой Вирека. По сюжету и композиции он напоминает книги о Картафилусе и Саломее: американский профессор-«ботаник» знакомится с красавицей, оказавшейся воплощением Богини Любви, и узнает от нее неожиданные истории о великих любовниках прошлого, от царя Соломона до Наполеона, – но выгодно отличается от них динамизмом повествования при отсутствии «воды» и «сахара», присущих манере его соавтора. Проходивший по разряду «массовой литературы» роман остался не замечен критикой, хотя и был переведен на немецкий язык.

С начала пятидесятых Вирека начали преследовать болезни, и он с удивлением обнаружил, что стареет. Надежды на возвращение в литературу не сбылись, издателя на мемуары не нашлось (поэтому работа не продвинулась дальше синопсиса и отдельных набросков), но предназначенную для печати краткую автобиографию он завер-

шил словами: «Будучи погребенным не впервые, я спокойно ожиданию очередного воскресения». Однако 31 декабря 1954 г., на семидесятилетие, Джордж Сильвестр получил большой альбом с поздравлениями от доброй сотни друзей и знакомых (к упомянутым выше добавлю Эзру Паунда и Фрица Крайслера), а в списке «не принявших участие» фигурировали почти исключительно покойники (сейчас альбом находится в моем собрании). В 1956 г. Вирек в последний раз съездил в Европу, где повидался с Папеном, Шахтом и принцем Луи Прусским, внуком кайзера. В том же году Американское поэтическое общество восстановило его в своих рядах, а в 1958 г. «Wisconsin Poetry Magazine» посвятил его стихам – правда, исключительно старым – специальный выпуск. В 1959 г. Вирек переселился к сыну в Маунт Холлиок, штат Массачусетс, где 18 марта 1962 г. скончался от кровоизлияния в мозг в возрасте семидесяти семи лет. Редкие газетные некрологи вспоминали его прежде всего как «пропагандиста».

Возвращение началось в двадцать первом веке, когда многие книги Вирека стали доступны в интернете и в системе print-on-demand. Его читают и изучают, так что забвение ему, думаю, больше не грозит.

Василий Молодяков

ДОМ ВАМПИРА

I

Смешной, нескладный дирижер оркестра, недавно приехавшего с Сицилии в Нью-Йорк, неистово размахивал палочкой, и оглушительные звуки музыки заглушали гул голосов и стук тарелок.

Однако ни его обезьяньи ужимки, ни какофония, сопровождавшая каждое его телодвижение, не могли отвлечь внимание публики от Реджинальда Кларка и его юного спутника, которые направлялись к выходу.

Красивое лицо молодого человека было задумчиво, а мягкий блеск ясных глаз выдавал мечтателя и поэта. На губах Реджинальда Кларка играла торжествующая улыбка победителя. Едва заметная седина в темной шевелюре лишь придавала благородства его внешности, а легкие морщины вокруг твердо очерченного рта свидетельствовали одновременно о силе характера и об утонченности натуры. Не требовалось особого воображения, чтобы представить его в образе римского кардинала времен Борджиа, облачившегося в современный вечерний костюм и шагнувшего со старого холста в XX век.

С изысканной любезностью уверенного в себе светского человека Реджинальд Кларк кивал в ответ на приветствия, сыпавшиеся на него со всех сторон. Подчеркнуто вежливо он раскланялся с молодой женщиной, чьи глубокие синие глаза, устремленные на него, светились ненавистью и восхищением.

Женщина не ответила на его молчаливое приветствие, но продолжала пристально смотреть ему вслед; на ее лице читались отчаяние и неистовство: так, наверно, проклятая душа в чистилище смотрит на шествующего мимо Сатану в его царственном великолепии.

Реджинальд Кларк хладнокровно следовал меж участников веселого застолья; по-прежнему улыбаясь, любезный, спокойный. Однако на память его спутнику пришли какие-то слухи о безумной любви Этель Бранденбург к этому человеку, от которого она и сейчас не могла отвести глаз. Ее страсть явно была безответной. Хотя, возможно, так было не всегда. Было время в ее жизни и карьере – несколько лет назад в Париже, – когда, если верить сплетням, она тайно вышла за него замуж, но вскоре развелась. Однако толком ничего про это известно не было, поскольку сами они хранили упорное молчание относительно своей прошлой семейной жизни, если таковая вообще имела место. Тем не менее, было очевидно, что гений Реджинальда Кларка полностью затмил ее талант художника, поскольку все картины Этель, написанные после того, как они расстались, выглядели бледными копиями ее прежних творений.

О причинах их разрыва можно было лишь гадать. Однако то, как общение с Реджинальдом Кларком повлияло на эту женщину, ясно говорило о его необычных способностях. Когда-то он вошел

в ее жизнь, и – о, чудо! – мир, запечатленный на ее полотнах, засиял множеством цветов и оттенков. Он ушел из ее жизни, и с ним с ее холстов ушло сияние красок – подобно тому, как на закате угасают в облаках золотистые лучи солнца.

Ореол славы вокруг имени Кларка частично объяснял секрет обаяния его личности; однако даже в кругах, где литературная слава не открывает перед человеком все двери, он мог бы, если захотел, очаровать решительно всех. Изысканный, утонченный и проникновенный, он уже давно завладел арсеналами мудрости средневековых диалектиков и софистов. (Многие годы спустя, когда фортуна отвернулась от него и его имя уже не упоминалось без издевки, о нем по-прежнему вспоминали в нью-йоркских гостиных как о человеке, который довел искусство беседы до совершенства.) Даже обычный разговор за обедом с ним стоил иной лекции по гуманитарным предметам.

Удивительное умение Кларка поддерживать и направлять беседу могло сравниться только с его блестящим стилем. Сердце Эрнеста Филдинга учащенно забилось при мысли о том, что ему выпала честь впредь жить под одной крышей с единственным писателем современности, который способен придать английскому языку все богатство, силу и строгую музыку литераторов елизаветинской эпохи.

Реджинальду Кларку были подвластны многие инструменты. И скромная лютня трубадура, и мощный орган Мильтона были одинаково послушны его прикосновению. Разносторонность являлась его отличительной чертой – и в этом была его сила. Стиль Кларка обладал и изысканной строгостью греческой мраморной колонны, и капризной вычурностью эпохи Ренессанса. По

временам казалось, что его крылатые слова слетают на страницы, словно ангелы в стиле барокко. Порой же от его стиля веяло вечным спокойствием суровых пирамид.

Мужчины вышли на улицу. Реджинальд поплотнее запахнул свое длинное пальто.

– Буду ждать тебя завтра в четыре, – сказал он.

Его голос был глубоким и мелодичным.

– Я буду точен.

Голос юноши слегка дрожал.

– Я с нетерпением буду ждать; ты меня заинтересовал.

Юноша покраснел от этой похвалы признанного арбитра литературного изящества.

Едва заметная улыбка пробежала по губам его собеседника.

– Я рад, что мои работы заинтересовали вас, – пробормотал молодой человек.

– Я считаю их весьма примечательными. Однако сейчас, – Кларк извлек часы, настоящее произведение ювелирного искусства, – я вынужден распрощаться с тобой. Мне пора.

Он крепко пожал руку Эрнесту, на секунду задержав ее в своей, потом резко повернулся и пошел, оставив молодого человека в некоторой растерянности. Шумная толпа подхватила его, чуть не сбив с ног, однако глазами он по-прежнему провожал исчезающую в ночи величественную фигуру Реджинальда Кларка. Его влекло к этому человеку всеми фибрами тела и молодой, щедрой души.

II

Мягкими шагами, с наслаждением вдыхая ночной воздух, Реджинальд Кларк шел по простиравшемуся пред ним Бродвею, где в ярких огнях пульсировала ночная жизнь.

Его мощный интеллект был поглощен бурной жизнью огромного города. Здесь, на улице, как и в салоне, его магнетическая сила оказывала на людей магическое воздействие, и он рассекал толпу с легкостью, с которой черкесский клинок рассекает воду.

Пройдя пару кварталов, Реджинальд Кларк внезапно остановился у ювелирного магазина. На витрине были в изобилии разложены драгоценные камни, ярко сверкавшие в электрическом свете, словно гипнотизирующие змеиные глаза – зеленые, красные, прозрачно-голубые. И пока он так стоял, их ослепительный блеск проник в его разум, трансформируясь в нечто возвышенное и чудесное, что со временем, возможно, превратится в поэму.

Затем его внимание привлекла небольшая компания худеньких девушек, которые танцевали на тротуаре под хриплые звуки старой шарманки. Он присоединился к группе заинтригованных зрителей, наблюдавших за колоритными танцовщицами, которые легко двигались в такт музыке. Одна привлекла его внимание – тонкая, с оливковой кожей, из страны, где вечная весна. Она целиком отдалась музыке, ее волосы растрепались, а ноги едва касались земли. Девушка казалась желтым листом, пляшущим в солнечном луче. Дребезжащие звуки шарманки, возможно, напоминали ей о смуглом, темноволосом юноше, играющем на флейте.

В течение нескольких минут Реджинальд Кларк с истинным наслаждением следил за грациозными движениями девушки. Затем – потому ли, что устала, или ее смутило пристальное внимание незнакомца – музыка исчезла из ее движений. Они стали медленными, угловатыми, почти неуклюжими. Интерес в глазах Кларка погас, хотя его тело наполнил трепет, словно ритм музыки и танца мистическим образом проник в его кровь.

Он продолжил свой путь вроде бы без определенной цели; но на самом деле напряжено впитывал нервозную суету снующих по Бродвею людей. Подобно гиганту, мощь которого прибывала всякий раз, когда он касался матери-Земли, Реджинальд Кларк черпал новые силы в каждом контакте с жизнью.

Он свернул на восток, на Четырнадцатую улицу, где одно за другим располагались дешевые варьете, словно бусы из фальшивого жемчуга на шее шлюхи. В каждом из заведений безвкусные, кричащие афиши соблазняли всевозможными дешевыми развлечениями. К удивлению швейцара одного из особо неприглядных мюзик-холлов, Реджинальд Кларк вошел внутрь и даже купил билет, который позволял ему присутствовать в этом убогом притоне низкого искусства. Основную часть публики составляли какие-то темные личности; несколько работяг; опустившиеся бывшие спортсмены; женщины, ушедшую молодость которых даже при этом искусственном освещении не могли восстановить толстые слои краски и пудры. Реджинальд Кларк, совершенно не обращая внимания на удивление и зависть, вызываемые его внешним видом, уселся за столик около сцены и заказал угодливому официанту лишь коктейль и программу. Выпивку он оставил нетронутой, зато

жадно впился глазами в строчки. Найдя то, что искал, он зажег сигару и, не обращая внимания на происходящее на сцене, стал с интересом рассматривать публику, пока не наступил выход Бетси, Гиацинтовой девушки.

Когда она запела, он все еще казался рассеянным. Слова песни были грубы, хотя и не без некоторой привлекательности для непросвещенного вкуса, а голос девушки – до неприятного тонким. Однако когда она перешла к припеву, поведение Кларка внезапно изменилось. Отложив сигару, он слушал с напряженным вниманием, жадно рассматривая ее. Когда она запела последнюю строчку и выхватила из волос цветок гиацинта, в ее голосе зазвучала какая-то странная горечь, какое-то патетическое, острое чувство. Это искупало несовершенство пения и отдавало грубую публику во власть ее чар.

Кларк также был захвачен ее трепетом, бесконечной печалью, горькими рыданиями одинокой души глубокой ночной порой, когда грешники предаются страстным молитвам.

Певица вдруг смолкла. Эти сверкающие глаза были устремлены на нее. Ей стало не по себе; лишь с огромным трудом она смогла продолжить. Когда она начала финальный куплет, на губах Кларка появилась загадочная улыбка. Под безжалостным взглядом мужчины девушка совсем сникла. На последнем припеве пение стало совсем отвратительным: голос больше не звучал трепетно и волнующе.

III

Задолго до назначенного времени Эрнест уже ходил взад-вперед перед жилищем Реджинальд Кларка – солидным многоквартирным домом, выходящим на Риверсайд-драйв.

Мимо мчались автомобили, унося к прохладному речному берегу суету и напряженность американской жизни. Однако шум и суматоха казались

юноше лишь благоприятными предзнаменованиями счастливого будущего.

Джек, его ближайший друг, с которым он делил квартиру, уехал месяц назад, и в последнее время Эрнест чувствовал себя очень одиноким. Его юной и чувствительной душе трудно было справляться со смутными страхами, порождаемыми трепетным сознанием, когда кажется, что из темных углов доносится зловещий шепот, а ступени таинственно скрипят под чьими-то шагами.

Он нуждался в том, чтобы добрый и любящий голос возвращал его назад из долины зловещих теней, где подолгу пребывала его поэтическая душа. В минуты слабости дружеское участие дарило ему силы и вновь вкладывало в руку сверкающий меч поэзии.

А нынешним вечером он принесет свой дневной урожай Кларку, подобно тому, как верующий кладет драгоценные камни, благовония и роскошные ткани к ногам божества.

Несомненно, он будет очень счастлив. И как порой сердце направляет стопы к желанному божеству, в то время как цветные сны, подобно танцовщицам, усыпляют волю, он вдруг обнаружил себя выходящим из лифта перед квартирой Реджинальда Кларка.

Эрнест уже протянул руку к звонку, когда раздавшийся из квартиры звук заставил его замереть.

– Нет, тут уже ничем не поможешь! – говорил Кларк. Его голос звучал жестко, с металлическими оттенками.

Ему ответил жалобный юношеский голос. Слов Эрнест разобрать не мог, но ему послышался подавленный всхлип, который чуть не вызвал у него слезы. Он инстинктивно понял, что это финал какой-то трагедии.

Он быстро отошел, чтобы не быть свидетелем разговора, не предназначенного для его ушей.

Вероятно, Реджинальд Кларк имел серьезные причины расстаться со своим юным другом – по предположению Эрнеста, Абелем Фельтоном, талантливым юношей, которого мастер взял под свою опеку.

На минуту в комнате воцарилось молчание, которое было прервано Кларком: «Это вернется к тебе, через месяц, через год, через два».

– Нет! Никогда! Все ушло! – воскликнул юноша. В его голосе звучало отчаяние.

– Ерунда. Это просто твои нервы. Однако именно поэтому мы должны расстаться. Двум нервным людям нет места в одном доме.

– Я не был таким неврастеником, пока не встретил тебя.

– Значит, это я виноват во всем: в твоих болезненных фантазиях, в твоих причудах, в постепенном развитии нервного заболевания?

– Кто знает? В голове у меня все путается. Я сам не понимаю, что говорю. Все так переплелось – жизнь, дружба, ты. Мне казалось, что ты заботишься о моей карьере, а теперь ты внезапно рвешь нашу дружбу!

– Мы все должны следовать закону нашего существования.

– Законы находятся в нас самих и подчиняются нам!

– Они как в нас самих, так и над нами. Физиологическая структура нашего мозга, наших нервных клеток – вот что определяет нашу жизнь, и что ее разрушает.

– Наша духовная связь была так прекрасна. Она должна была длиться вечно.

– Все это мечты молодости. Ничто не длится вечно. Все течет – panta rei. Все мы лишь временные постояльцы гостиницы. Дружба, как и любовь – не более чем иллюзия. Жизнь не в силах ничего отнять у человека, лишенного иллюзий.

– Но такому человеку она и не может ничего дать.

Они попрощались.

Эрнест столкнулся с Абелем в дверях.

– Куда направляешься? – спросил он.

– Хочу совершить небольшое увлекательное путешествие.

Эрнест знал, что юноша лжет. Ему припомнилось, что Абель Фельтон работал над какой-то книгой – то ли пьесой, то ли романом. Он поинтересовался, как продвигается работа.

– Я ее больше не пишу, – ответил тот с грустной улыбкой.

– Не пишешь?

– Ее теперь пишет Реджинальд.

– Боюсь, что я не понимаю.

– Неважно. Когда-нибудь поймешь.

IV

– Я так рад тебе, – сказал Реджинальд Кларк. Он провел Эрнеста в свой кабинет – большую, роскошно обставленную комнату с видом на Гудзон и Риверсайд-драйв.

Удивленный и смущенный взгляд юноши переходил с одного предмета на другой, с картины на статую. Несмотря на кажущуюся несовместимость отдельных деталей, в целом обстановка кабинета создавала впечатление стиля и яркой индивидуальности.

Сатир на каминной полке нашептывал непристойные секреты на ухо Святой Цецилии. Серебристые члены Антиноя слегка касались одеяний Моны Лизы. Из угла маленькая шаловливая леди бросала кокетливые взгляды на серый образ египетского Сфинкса. Портрет Наполеона взирал на образ Распятого. А над всем, в полутьме, искусственно созданной тяжелыми драпировками, возвышались два бюста.

– Шекспир и Бальзак! – воскликнул Эрнест с некоторым изумлением.

– Да, – пояснил Реджинальд, – это мои боги.

Его боги! Определенно, в этом ключ к характеру Кларка.

Наши боги – это мы сами, возведенные в высшую степень.

Кларк и Шекспир!

Даже восторженно настроенному Эрнесту казалось почти богохульством называть современника, пусть самого выдающегося, в одном ряду с величайшим мастером поэзии, чья огромная, величественная тень, отброшенная из далекого прошлого, приобрела неимоверные, непропорциональные, ужасающие размеры.

Однако кое-что можно сказать и в пользу сравнения. Кларк, несомненно, обладал вселенской широтой, и также несомненно, скрытностью; по изысканности вкуса не уступал елизаветинцам; его искусство являлось великолепным обрамлением его личности. Несомненно, между ними

было сходство. Эрнест не удивился бы, увидев спокойное, ясное лицо Шекспира за спиной хозяина кабинета.

Возможно – кто знает? – само присутствие этого бюста в комнате в какой-то степени, незаметно сформировало характер Реджинальда Кларка и повлияло на всю его жизнь. Душа человека, словно хамелеон, принимает цвета окружающих предметов. Даже совершенные пустяки, вроде номера дома, в котором мы живем, или цвета обоев в комнате, могут порой определить судьбу.

Юноша вновь оглядывал причудливую обстановку, в которой оказался; а между тем из угла Кларк внимательно следил за каждым движением, словно стремясь прочесть его самые потаенные мысли. Эрнесту, пораженному всем увиденным, вдруг подумалось, что каждая ваза, каждая картина, каждая диковина в этой комнате, нашла отражение в произведениях Кларка. В китайском мандарине с длинной косичкой Эрнест без труда узнал причудливое четверостишие в одном из самых чудесных стихотворений Кларка. И он мог поклясться, что усмешка индийского обезьяньего бога (фигурка стояла на письменном столе) отразилась в затейливом ритме двух строф, гротескное звучание которых произвело на него неизгладимое впечатление.

Наконец, Кларк нарушил молчание.

– Тебе нравится мой кабинет? – спросил он.

Простой вопрос вернул Эрнеста к реальности.

– Нравится? Это поразительно! Он возбуждает во мне самые причудливые фантазии.

– Мне тоже этим вечером приходят на ум различные фантазии. Воображение, в отличие от гениальности, – заразная болезнь.

– И какие же именно фантазии посетили вас?

– Мне представилось, что все те вещи, которые постоянно окружают нас, формируют наше мышление. Я иногда думаю, что даже мой маленький китайский мандарин или этот обезьяний идол, которого я, кстати, привез из Индии, оказывают загадочное, однако вполне реальное влияние на мою работу.

– О Господи! – воскликнул Эрнест. – Я подумал о том же!

– Как странно! – откликнулся Кларк с видимым удивлением.

– Говорят – возможно, это банально, но, тем не менее, верно, – что великие умы идут одними и теми же путями, – заметил Эрнест, внутренне гордясь собой.

– Нет, но они приходят к одним и тем же выводам различными путями, – с намеком ответил Реджинальд.

– И вы придаете большое значение нашим фантазиям?

– Почему бы и нет?

Кларк рассеянно смотрел на бюст Бальзака.

– Гений человека соразмерен его способности впитывать элементы окружающей жизни, что необходимо для достижения художественного совершенства. У Бальзака это качество было развито в наивысшей степени. Однако, что удивительно, больше всего его привлекало зло. Он впитывал его, как губка впитывает воду; возможно, потому что его было слишком мало в собственном характере писателя. Наверно, он очищал атмосферу на мили вокруг себя, собирая на кончике пера все зло, которое витало в воздухе или дремало в человеческих душах.

И этот, – взгляд Кларка остановился на Шекспире; так человек может смотреть на своего брата, – он принадлежал к тем же натурам. По

сути, он был идеальным типом художника. Ничто не ускользало от него. Он черпал материал из жизни и из книг, каждый раз трансформируя его рукой мастера. Создание – божественная прерогатива. Воссоздание, которое гораздо удивительнее простого созидания, – прерогатива поэта. Шекспир брал свои краски со многих палитр. Поэтому он так велик, а его произведения неизмеримо выше его самого. Именно это объясняет его уникальные достижения. Кем он был? – Никем. Какое образование он получил? – Никакого. Какие у него были возможности? – Никаких. И, тем не менее, в его творениях мы видим мудрость Бэкона[1], фантазии и открытия сэра Уолтера Рэли[2], громовые раскаты в речах героев пьес Марло[3], и загадочное очарование мистера В. Г., которому он посвятил свои сонеты[4].

---

1 Фрэнсис Бэкон (1561–1626), английский философ, один из родоначальников материализма *(здесь и далее примечания переводчика и редактора)*.

2 Уолтер Рэли (ок. 1552–1618), английский мореплаватель, организатор пиратских экспедиций, поэт, драматург, историк. В 1580-е годы – фаворит королевы Елизаветы I. Казнен при короле Якове I после неудачной экспедиции в Северную Америку.

3 Кристофер Марло (1564–93), английский драматург; предполагаемый соавтор Шекспира в некоторых ранних пьесах.

4 Относительно личности загадочного W.H. не существует единого мнения. Существует, в частности, версия, что инициалы расшифровываются как William Henry – якобы это внебрачный сын Шекспира и придворной музыкантши Эмилии Боссано (в замужестве – Ленир), которая, в свою очередь, якобы и есть Смуглая Леди шекспировских сонетов.

Эрнест слушал, завороженный мелодичным голосом Кларка. Тот и вправду умел говорить, как никто другой, и обладал удивительной способностью придавать самым безумным фантазиям видимость правдоподобия.

V

– Да, – сказал скульптор Уолкхэм, – все это удивительно.

– Что именно? – поинтересовался Эрнест, воображение которого было поглощено Сфинксом, глядящим на него из угла с саркастической улыбкой, которая не менялась уже пять тысяч лет.

– То, как наши вчерашние видения сегодня взирают на нас, словно незнакомцы.

– Напротив, – возразил Реджинальд, – было бы странно, если бы они все еще узнавали нас. На самом деле, это было бы противоестественно. Небеса над нами и земля под нашими ногами – все в постоянном движении. Каждый атом нашего физического тела вибрирует с невероятной скоростью. Изменение равнозначно жизни.

– Порой кажется, будто мысли испаряются, как вода, – сказал скульптор.

– Почему бы и нет, при благоприятных условиях?

– Но куда они деваются? Не могут же они совсем исчезнуть?

– Да, это проблема. Впрочем, особой проблемы тут нет. В мире духовном ничто никогда не исчезает.

– Но почему вы вдруг подумали об этом? – поинтересовался у скульптора Эрнест.

– Дело в том, что у меня исчез творческий замысел, – ответил тот. – Помнишь, – продолжал он, обращаясь к Реджинальду, – статую Нарцисса, над которой я работал, когда ты в прошлый раз посещал мою студию?

– Да, это была поразительная вещь, и она произвела на меня большое впечатление, хотя сейчас я не могут припомнить ее в подробностях.

– Так вот, это был заказ. Молодой, эксцентричный миллионер предложил мне восемь тысяч долларов. У меня была совершенно оригинальная концепция. Но теперь я не могу осуществить ее. Она исчезла, словно ее унес ветер.

– Очень жаль.

– Еще бы, – вздохнул скульптор.

Эрнест улыбнулся. Всем было известно о семейных проблемах Уолкхэма. У него было два бракоразводных процесса, и сейчас ему приходилось содержать три семьи.

Тем временем скульптор присел за письменный стол Реджинальда и машинально рассматривал лежащий перед ним машинописный лист. Сначала он рассеянно взглянул на него, пробежав глазами текст, потом прочел во второй раз, с пристальным интересом, даже не осознавая, что поступает невежливо.

– Черт возьми! Что это! – воскликнул он.

– Эпическая поэма на тему Французской революции, – безмятежно ответил Реджинальд.

– Но, послушай, я узнаю тут свой замысел!

– Что вы имеете в виду? – спросил заинтригованный Эрнест, взглянув сначала на Реджинальда, потом на Уолкхэма, начиная сомневаться, не помутился ли у того разум.

– Слушайте!

И скульптор дрожащим от волнения голосом прочел длинный отрывок, чеканный ритм которого восхитил Эрнеста; однако содержание ускользало от него, поскольку мысли были заняты загадочным замечанием Уолкхэма.

Реджинальд не сказал ничего, однако блеск в его глазах говорил о том, что на этот раз в нем, по крайней мере, пробудился интерес.

Уолкхэм понял, что без объяснений с его стороны никто ничего не поймет.

– Я забыл, что вы мыслите иначе, чем скульптор. Я так устроен, что для меня все впечатления немедленно воспроизводятся в виде той или иной формы. Я не слышу музыку; я вижу, как она вздымается куполами и шпилями, цветными окнами и арабесками. Запах розы для меня осязаем. Я почти могу потрогать его рукой. Так вот, твоя поэма своим ритмом, напомнила мне – сначала неопределенно, но потом я это ощутил совершенно явственно – мой утраченный замысел относительно статуи Нарцисса.

– Интересно, – пробормотал Реджинальд. – Такого я не ожидал.

– Так вам это не кажется совершенно невероятным? – поинтересоваться Эрнест, пытаясь понять, что имеет в виду Кларк.

– Нет, это вполне возможно. Наверно, его Нарцисс присутствовал в моем подсознании, когда я работал над этим отрывком. И было бы странным, если бы образы, запечатленные в подсознании, не отражались на нашем стиле.

– Вы имеете в виду, что тонкий психолог умеет читать между строк и даже то, что за ними, а не только то, что мы выражаем; другими словами, то, что мы оставили невыраженным?

– Несомненно.

– То есть, мы, когда пишем, можем не осознавать, в каком состоянии находится наше сознание? Это открывает новые перспективы в области психологии.

– Это открывает возможности только для тех, кто имеет ключ, с помощью которого можно читать скрытые символы. Для меня совершенно ясно, что любое движение мысли за пределами обыденного сознания несомненно должно оставлять какой-то отпечаток, более или менее четкий, на наших действиях.

– Так можно объяснить, почему некоторые книги, которые кажутся большинству невыносимо скучными, находят отклик в сердцах немногих, – предположил Эрнест.

– Да, у тех немногих, кто имеет ключ. Я хорошо помню, как мой дядя однажды читал работу по высшей математике и испуганно покраснел, когда его жена – женщина высоконравственная – заглянула ему через плечо. Дело в том, что автор того труда был распутником.

– Значит, многие книги, которые кажутся вполне безобидными, могут подспудно обладать силой развращать юные умы, – заметил Уолкхэм.

– Если только они смогут это воспринять, – ответил Кларк с глубокомысленным видом. – Лично я могу очень хорошо почувствовать непристойность учебника математики, или репортаж о безобидном пикнике, в котором, глубоко скрытая, невидимая, заключена – для посвященных – трагическая страсть Тристана и Изольды.

VI

Несколько недель минуло с того разговора в кабинете Реджинальда Кларка. Весна была в самом разгаре; луга покрылись цветами, а полки книжных обозревателей – новыми изданиями. Последнее приносило Эрнесту неплохой доход, однако его собственная поэзия никак не расцветала. Рецензируя чужие книги, Эрнест как-то не обращал внимания на то, что весна не принесла ему новый букет стихов. Лишь по временам творческое бесплодие слегка тревожило душу, словно легкая рябь на воде.

Необычная личность хозяина дома опутала мысли юноши непроницаемой паутиной. Накануне его навестил Джек, ненадолго приехавший из Гарварда, однако даже он не мог освободить душу Эрнеста от одержимости Реджинальдом Кларком.

Эрнест лениво растянулся на диване, пуская дым сигареты в сторону Реджинальда, который работал за письменным столом.

– Твой приятель Джек очарователен, – заметил Реджинальд, отрываясь от бумаг. – А его темные волосы составляют приятный контраст с твоими золотистыми. Я полагаю, что по темпераменту вы – полные противоположности.

– Так и есть; однако дружба способна справиться с любыми противоречиями.

– Как давно ты его знаешь?

– Мы закадычные друзья со второго курса.

– Что привлекло тебя в нем?

– Объяснить симпатии и антипатии – непросто. Даже микроорганизмы оказываются весьма сложными, если смотреть на них в микроскоп. Так как же мы можем пытаться анализировать, с той или иной степенью уверенности, наши души, осо-

бенно когда под влиянием чувств мы смотрим на мир, словно сквозь цветные очки.

– Действительно, личные чувства искажают цвет и перспективу. Тем не менее, мы не должны отказываться от самоанализа. Мы должны учиться ясно видеть, что происходит в наших сердцах, если хотим, чтобы в нашем творчестве была жизнь. Невидимое и неочевидное представляет собой лучшую часть литературы, и это обязывает нас выявлять все тончайшие, ускользающие тени эмоций, чтобы переносить их в свои произведения.

– Именно потому, что я так склонен к самоанализу, я осознаю сложность своей натуры, и мне трудно определить свои эмоции. Противоборствующие силы бросают нас во все стороны, однако далеко не всегда нейтрализуют друг друга. Психология – не физика. Многое привлекает меня в Джеке. Он был утонченнее, нежнее, возможно, женственнее, чем остальные студенты.

– Это я заметил. Ресницы у него как у девушки. Ты по-прежнему любишь его?

– Это не вопрос любви. Мы – два существа, живущие одой жизнью.

– Что-то вроде сиамских близнецов, только на психологическом уровне?

– Почти. На самом деле все достаточно просто. Наши сердца растут на одной почве: одни и те же книги питали нас, одни и те же бури потрясали наше существо, и под одним солнцем расцвела наша дружба.

– И, тем не менее, прости за откровенность, он показался мне довольно банальным.

– На самом деле в нем есть скрытая нежность и глубина чувств, которая открывается лишь при близком общении. Сейчас он продолжает учиться

в Гарварде, и мы не виделись почти два месяца. Тем не менее, столько невидимых нитей связывают нас, что мы могли бы встретиться через годы и быть по-прежнему близки.

– Ты еще очень молод, – заметил Реджинальд.

– Что вы имеете в виду?

– О, не обращай внимания.

– Так вы не верите, что два сердца могут биться как одно?

– Нет, это распространенное заблуждение. Даже две пары часов не могут идти синхронно. Всегда существует расхождение; возможно, бесконечно малое, но все же расхождение.

Резкий звук дверного звонка прервал беседу. В следующий момент в дверь просунулась кудрявая голова.

– Привет, Эрнест! Как поживаешь, старик? – громко и весело приветствовал его прибывший. Затем, заметив Кларка, он, ничуть не смущаясь, обменялся рукопожатием с великим человеком, демонстрируя беспечность здорового молодого животного, вскормленного в атмосфере американского колледжа.

Прикосновение, казалось, взволновало Кларка; его дыхание участилось, и он отошел к окну, словно желая скрыть проявление чувств.

Джек принес с собой дыхание весны. Юность – это Прекрасный Принц. Пожатие его руки заставляет кровь быстрее бежать в старых венах, а люди среднего возраста в его присутствии распускают свои лепестки, подобно цветку на солнце.

– Я пришел забрать у вас Эрнеста, – сказал Джек. – Он выглядит немного бледнее обычного, и денек вне дома разгонит ему кровь.

– Не сомневаюсь, что ты сумеешь позаботиться о нем, – ответил Реджинальд.

– Куда пойдем? – рассеянно спросил Эрнест.

Но ответа он не расслышал, поскольку скептицизм Реджинальда произвел на него гораздо большее впечатление, чем он решался признаться самому себе.

VII

Юноши с наслаждением подставили свои души морскому бризу, а глаза – солнечному свету.

Мощная волна стремящихся к удовольствиям человеческих особей вынесла их к «Лайон Пэлас». Оттуда, сидя за столиком и утоляя жажду коктейлями, они наблюдали за лихорадочной пульсацией жизни в венах Кони Айленд, куда ее принесло с Брайтон Бич.

Эрнест задумчиво пускал кольца дыма.

– Ты заметил, какое неестественное выражение лица у среднего посетителя курорта на этом острове? – сказал он Джеку, который, следуя порывам молодой и более пылкой натуры, изучал женщин в волнах толпы.

– Это, – продолжал Эрнест, говоря скорее сам с собой, – типичный американец, который стремится «хорошо проводить время». И он намерен получить свое. Подобно охотнику, он идет на запах счастья, однако я ручаюсь, что оно ускользнет от него. Возможно, его безумная гонка – это всего лишь воплощение суетного стремления человека к удовольствиям; вечный призыв, на который никогда не будет ответа.

Однако Джек его не слушал. Бывают моменты в жизни каждого мужчины, когда женская юбка привлекательнее всей философии мира.

Эрнест был несколько обижен, и всем своим видом выражал молчаливый протест. Хотя и уступил, когда Джек пригласил к их столику двух созданий, некогда бывших женщинами.

– Зачем?

– Они забавные.

– Я так не думаю.

Каждая из них видала лучшие времена – само собой. Затем разорение, работа в магазине или на фабрике и окончательное падение.

Одна – маленькое, хрупкое, нервозное создание – инстинктивно выбрала место рядом с Эрнестом и все склонялась к его уху, порываясь рассказать историю своей жизни; она готова была поведать ее любому, кто согласился бы угостить ее выпивкой. Что-то в ее поведении заинтересовало Эрнеста.

– А затем удача улыбнулась мне. Менеджер одного водевиля был моим приятелем и решил взять меня с испытательным сроком. Он считал, что у меня есть голос. Они называли меня Бетси, Гиацинтовая девушка. Сначала, казалось, публике нравилось, как я пою. Но, вероятно, так было потому, что я была новенькой. Через месяц или два они меня уволили.

– Почему?

– Я думаю, они вытянули из меня все, что могли, вот и все.

– Ужасно!

– У меня никогда не было особого голоса – курение, и вино; – я люблю вино.

Она залпом осушила стакан.

– И тебе нравится твое нынешнее занятие?

– Почему нет? Разве я не молода? И не хороша собой?

Она сказала это не как заученную фразу; это было ее собственное простодушное кокетство.

Позднее, по пути на паром, Эрнест с упреком спросил: «Джек, ты действительно получил удовольствие от общения со своей собеседницей?»

– А ты нет?

– Ты серьезно?

– Ну, да, она была … вполне мила.

Эрнест нахмурился.

– Эрнест, нам двадцать лет. И потом, это, ну, как урок социологии. Сьюзи…

– Ее так зовут?

– Да.

– Значит, у нее есть имя?

– Конечно.

– У нее не должно быть имени. Должен быть номер.

– Возможно, они не столпы общества, но все же они люди.

– Да, – ответил Эрнест, – и это самое ужасное.

VIII

Ярко светила луна.

Корабль уверенно рассекал серебро моря.

Запах молодой плоти. Взрывы смеха. Нескончаемые звуки пианолы. Шарканье ног танцоров. Голоса хриплые от выпивки; другие голоса – в которых нежность любви. Пронзительные нотки вульгарности. Суетящиеся официанты. Девушки-продавщицы. Буржуазные супружеские пары. Усталые семьи из четырех и более человек. Спящие дети. Продавец сладостей. Детский плач.

Двое друзей сидели на верхней палубе, закутавшись в плащи.

Вдали, в тумане, испускал сияние Эмпайр Сити.

– Слушай, Эрнест, ты должен что-то сочинить, как в старые времена. Твои уста запечатаны; может, ты все еще думаешь о Кони Айленде?

– О нет, ветер все унес. Я чист. Я очистился. Жизнь проходит мимо. Она поцеловала меня, но не оставила следа.

Он взглянул в лицо друга. Их руки встретились. Они остро и радостно почувствовали красоту ночи, красоту своей дружбы, красоту города перед ними.

Затем губы Эрнеста зашевелились, и зазвучал его голос – мягко, музыкально, с какой-то странной, сдержанной страстью:

Она сверкает яркими огнями,
И бьется жизнь, как яростное пламя.
Из стали и бетона поднялись
Громады чудищ, устремляясь ввысь.
И башни вавилонские глядят
В пустое небо, глаз сомкнуть не смея,
И поезда стремительно скользят,
Как золоточешуйчатые змеи.

Она стоит, и терпеливо ждет,
Когда ее возлюбленный придет.
Чьи губы пробудить ее готовы,
И сбросить многолетние оковы.
И будет все, раскаянье и грех.
И воздух огласит безумный смех.

Он замолк. Корабль скользил по водной глади. Долгое время никто не проронил ни слова. Наконец, Джек нарушил молчание: «Не собираешься ли ты стать лирическим голосом города, чтобы выразить всю его тоску, все желания; все мечты, воплощенные в стали, и мысли, воплощенные в камне?»

– Нет, – просто ответил Эрнест, – пока нет. Удивительно, на какие впечатления откликается мозг. В доме Кларка, в атмосфере, которая кажется вдохновляющей, вдохновение не посещает меня. Однако когда я сидел с этой девицей, у меня родилась идея – поистине отличная идея, просто великолепная!

– Это будет про нее?

Эрнест улыбнулся.

– О нет. Лично она не имеет к ней никакого отношения. По крайней мере, прямого. Это было какое-то смятение – в крови и в мыслях. Что-то витало в воздухе. Не знаю, что именно.

– Что это будет? – спросил заинтригованный Джек.

– Пьеса. Замечательная пьеса. Ее героиня – принцесса. Маленькая Принцесса с желтой вуалью.

– А каков сюжет?

– Этого я тебе сегодня не скажу. Собственно, я никому не скажу ни слова. Это станет сюрпризом для всех. Публика будет покорена.

– Ты думаешь, ее поставят?

– Если я не слишком ошибаюсь, ты увидишь ее на Бродвее в течение года. И, – добавил он снисходительно, – я предоставлю тебе два места в ложе на премьеру.

Оба рассмеялись при этой мысли, и их сердца учащенно забились.

– Я надеюсь, ты побыстрее ее закончишь, – заметил Джек несколько минут спустя. – В последнее время ты почти ничего не написал.

– Как раз об этом я думал, когда ты вчера приехал. Это и есть причина подавленного настроения, в котором ты меня застал.

– Действительно, – Джек оценивающе взглянул на Эрнеста. – Однако сейчас твое лицо сияет. Похоже, твоя идея сильнее разгоняет твою кровь, чем поцелуй девушки.

– Слава Богу! – заметил Эрнест со вздохом облегчения. – Могучие силы во мне пробудили мысль. Страсть может в одну секунду схватить нас за горло; нас истязают желания, нашу душу пожирает пламя многих страстей; но радость творчества – вот высшая страсть.

IX

Казалось, работа приносит Эрнесту такое же наслаждение, какое получает обычное животное по имени человек от плотских удовольствий. Игра воображения давала ему чувственное удовлетворение, словно близость с женщиной. Его глаза сверкали. Мышцы напрягались. Он был охвачен радостью творчества.

Однако, очень часто сугубо житейские причины, словно камни, привязанные к крыльям птицы, сковывали творческий полет. Журналы ожидали его рецензий, и он не мог заставлять их ждать – они давали ему заработок.

Тем не менее, посреди забот о хлебе насущном пьеса продолжала расти, сцена за сценой. По ночам он плел ткань своих фантазий, где переплетались нежность и жестокость, тяжелые запахи восточных благовоний и линии его собственной жизни. Любое истинное искусство – в какой-то степени автобиографично. Это, однако, не подразумевает непременного раскрытия подлинного «я» художника, но миллионов его потенциальных личностей. Ах, эти наши потенциальные «я»!

Иногда они прекрасны, иногда отвратительны, но всегда завораживают. Они открывают для нас рай, но они же грозят адом, готовым разверзнуться под ногами.

Человек, который заключает в себе рай и ад – само совершенство. Однако существует много видов рая, и еще больше – ада. Художник черпает огонь вдохновения из обоих источников. Несомненно, убийца испытывает не более острые ощущения в момент совершения преступления, чем поэт, изображающий свои сияющие миры. То, что он пишет, не менее реально для него, чем подлинная жизнь. Однако, в своем царстве поэт – верховный владыка. Его руки могут быть красными от крови или белыми от проказы – он по-прежнему остается королем. Но горе, если он переступит пределы своего королевства и претворит в жизнь тайные мечты. Толпа, которая ранее аплодировала ему, побьет его камнями или распнет на кресте.

Прошло некоторое время, прежде чем Эрнест смог сосредоточиться на своей пьесе. Его вновь и вновь охватывала творческая лихорадка, и он сочинял строчку за строчкой, словно нанизывал жемчуг, однако пока что ни слова не доверил бумаге. Даже обсуждать свою работу, прежде чем будут нанесены последние штрихи, казалось ему неприемлемым.

Реджинальд также, казалось, был полностью поглощен работой. У Эрнеста почти не было возможности поговорить с ним. Намекнуть же о своих планах в ходе коротких встреч за завтраком казалось Эрнесту святотатством.

Шли дни. Юноша-апрель уступил место зрелому маю. Пьеса почти полностью сложилась в голове Эрнеста, и он с легким трепетом думал о необходимости приступить к физической части работы – перенести ее на бумагу. Он чувствовал,

что этот процесс потребует всех сил, поскольку в последнее время ему было трудно сосредоточиться; мысли ускользали от него, как только он пытался удержать их.

День выдался хороший, солнечный, и Эрнест решил в одиночестве погулять в парке, чтобы успокоить нервы и собраться с силами для решающего этапа работы. Он сообщил о своем намерении Реджинальду, но тот почти не обратил на него внимания. Лицо его было бледным и изнуренным, как у человека, проработавшего всю ночь.

– Вы, наверно, очень заняты? – спросил Эрнест с искренней озабоченностью.

– Так и есть, – ответил Кларк. – Я всегда работаю до изнеможения. Не нахожу себе места, нервничаю, меня лихорадит, и я успокаиваюсь лишь тогда, когда произведение, наконец, появляется на свет.

– Чем же вы так заняты? Вашей поэмой о Французской революции?

– О нет. Собственно, я не обращался к ней уже несколько недель; по сути, с тех пор, как заходил Уолкхэм. Я просто не могу. У меня такое чувство, словно чья-то грубая рука разорвала паутину моих мыслей. Поэзия, когда она еще только зарождается, – это как расплавленное стекло, которому мастер придаст форму птиц, цветов и разных фантастических существ. Даже сквозняк из приоткрытой двери может все испортить. Однако сейчас я занят более важной работой. Я отливаю сосуд не из тонкого стекла, но из расплавленного золота.

– Ужасно интересно, что вы приготовили для нас. Мне кажется, вы достигли уровня, который вам самому уже невозможно превзойти.

Реджинальд улыбнулся.

– Твоя оценка слишком лестна, хотя и приятна.

Признаюсь тебе, что мой новый замысел уникален. Он сочетает зрелое совершенство моей техники и свежесть весны.

Эрнест чуть не дрожал от предвкушаемого наслаждения. Его душа откликалась на прикосновения Реджинальда, как арфа на порыв ветра.

– Когда, – воскликнул он, – вы окажете нам честь познакомиться с вашим творением?

Реджинальд уже снова опустил глаза к письменному столу.

– Если боги будут благосклонны, я все завершу этой ночью. Завтра у меня прием, и, скорее всего, на нем я и прочту свое произведение.

– Возможно, скоро я тоже смогу представить вам мою пьесу.

– Будем надеяться, что так, – рассеянно ответил Реджинальд, и эгоизм художника вновь приковал его к работе.

X

В ту ночь в доме Реджинальда Кларка собралось блестящее общество. В кабинете и прилегающей к нему гостиной стоял приглушенный гул голосов. На белых шеях сверкали драгоценные ожерелья; казалось, в каждом камне заключена чья-то душа. Сладострастно шелестели шелка, нежно облегая стройные формы своих хозяек. От волос и рук прелестниц исходил легкий аромат духов, смешиваясь с едва ощутимым запахом их плоти. Благовонные свечи в разноцветных хрустальных шарах бросали трепетный свет на изысканное общество, вызывая неестественный блеск на лицах мужчин, в то время как в волосах и драгоценностях женщин лучи, казалось, плясали бесовский танец.

В ярко освещенном углу комнаты стояло кресло, покрытое мехом тропических хищников, похожее на трон, ожидающий появления монарха. Сверху над креслом свешивались темно-красные драпировки в восточном стиле, напоминавшие балдахин, что еще более усиливало сходство с монаршим троном. Гости стояли небольшими группами, беседуя, или сидели в креслах необычной формы, расставленных по всей гостиной в кажущемся беспорядке. Присутствовали критики, писатели и просто светские люди. Каждый, кто что-то представлял собой, имел свой собственный кружок почитателей. Представителей богемы было немного, однако и без них не обошлось. Магия имени Реджинальда Кларка заставляла добропорядочных дам закрывать глаза на присутствие некоторых личностей, мимо которых они прошли бы на улице, не поздоровавшись.

Эрнест смотрел на великолепное собрание рассеянным взглядом лунатика. Не то чтобы его чувствительная душа оставалась безразличной к этой атмосфере культуры и порока, витавшей в гостиной, или он оставался равнодушным к завораживающим световым эффектам. Сейчас все отступало на второй план перед тем, что он видел внутренним взором. Сияющий дворец мечты – его пьеса – вставал перед ним. Он был прекрасен, он был почти реален, и для его завершения требовалось лишь приложить физические усилия. Персонажи стремились покинуть лабиринты разума, чтобы воплотиться на бумаге.

Наверно, Эрнест и дальше пребывал бы в мире своих фантазий, если бы появление неожиданного гостя не вывело его из прострации.

– Джек! – удивленно воскликнул он. – Я думал, ты находишься за сотни миль отсюда.

– Это говорит о том, что ты больше не любишь меня, – весело откликнулся приятель. – Раньше ты всегда чувствовал, если я рядом.

– Возможно. Но скажи, каким ветром тебя принесло?

– Кларк позвонил мне по телефону. Полагаю, он хотел сделать тебе сюрприз. И ты, вроде, действительно удивлен, причем не слишком приятно. А у меня ведь работы по горло. Но знаешь, как это бывает. Как будто что-то толкает тебя делать глупости. Нечего… У меня достаточно сил, чтобы позволить себе это.

– Замечательно, что ты приехал. Я действительно рад. Я чувствую, что ты нужен мне сегодня вечером – сам не знаю, почему. Это ощущение пришло внезапно – так же внезапно, как появился ты. Я лишь знаю, что нуждаюсь в тебе. Насколько ты можешь задержаться здесь?

– Я должен уехать завтра утром. У меня очень много дел. Через несколько дней экзамены, а мне еще столько предстоит сделать.

– Тем не менее, – заметил Эрнест, – ты не пожалеешь, что приехал. Сегодня Кларк читает свой шедевр.

– Что именно?

– Не знаю. Однако уверен, что это стоящая вещь. Не сомневаюсь, это гораздо ценнее всего того, чему лысые умники-профессора могут научить тебя за пять тысяч лет.

– Да ладно тебе, – не удержался Джек. – Припомни свои деньки в колледже, особенно экзамены по математике. Твои оценки всегда были очень низкими.

– Джек, – воскликнул Эрнест в порыве искреннего негодования, – в последний раз я сдал экзамены вполне успешно!

– Да, потому что твой сонет по аналитической геометрии вызвал сочувствие даже у изверга-математика. А ты помнишь профессора Сквилера, для которого было истинным наслаждением в очередной раз сообщить тебе, что, как бы ты ни старался, он никогда не поставит тебе хорошую отметку по физике?

– Да. Пусть Господь его простит – я не могу.

Тут обмен воспоминаниями был прерван. Возникла легкая суматоха. Все поспешили занять места.

Король шествовал к своему трону.

Несомненно, Реджинальд Кларк умел вести себя с поистине королевским достоинством. Он неторопливо занял место под балдахином.

Воцарилась полная тишина. Реджинальд Кларк медленно раскрыл рукопись.

XI

Музыка повествования Реджинальда Кларка захватила всех. Его выразительный голос с тщательно продуманными модуляциями, повышался и понижался; то он звучал звучно и сильно, словно орган, то нежно и чисто, как звон колокольчиков. Богатством тональных оттенков голос отвлекал от содержания того, что произносил Реджинальд Кларк. Его очарование заворожило даже привыкшего к нему Эрнеста. Первая страница рукописи уже мягко скользнула из руки Реджинальда на ковер, когда юноша начал осознавать, что ему прекрасно знакомо каждое слово, слетавшее с губ Кларка. Когда вторая страница выскользнула из руки Реджинальда, по телу Эрнеста прошла крупная дрожь. Словно чья-то ледяная рука сжала ему

сердце. Сомнений быть не могло. И это не простое совпадение. Это плагиат!

Ему хотелось кричать. Комната поплыла у него перед глазами. Наверно, он спит. Да, это сон. Лица слушателей, огни, Реджинальд, Джек – все это фантасмагория сна.

Возможно, он долго болел. Возможно. Кларк читает пьесу вместо него. Он не помнил, чтобы записал ее. Но возможно, он заболел после того, как завершил работу над ней. Какие только шутки не шутит с нами память! Но нет! Это не сон, и он не был болен.

Он больше не мог выносить ужасной неопределенности. Натянутые нервы должны получить какую-то разрядку, иначе у него будет приступ. Он повернулся к другу, который слушал с напряженным вниманием.

– Джек, Джек! – прошептал он.

– Что?

–- Это моя пьеса!

– Хочешь сказать, что это ты вдохновил Реджинальда на нее?

– Нет, это я написал ее, точнее, собирался написать.

– Эрнест, очнись! Ты что, спятил?

– Нет, серьезно. Она моя. Я говорил тебе – помнишь, тогда, когда мы возвращались с Кони Айленд, – что я пишу пьесу.

– А-а-а, но не эту же самую пьесу.

– Именно эту. Я задумал ее, я практически ее написал.

– Жаль, что Кларк задумал ее раньше.

– Но она моя!

– Ты хоть что-нибудь говорил ему о своем замысле?

– Ни слова.

– Ты не оставлял рукописи в своей комнате?

– Я, собственно, не написал ни строчки. Я еще не начал писать.

– Зачем человеку с репутацией Кларка заниматься плагиатом и красть твою пьесу, написана она или нет?

– Не вижу ни малейшей причины. Но…

– Тсс…

Их шепот уже вызвал свирепый взгляд сидевшей перед ними дамы.

Эрнест вцепился в край стула. Он должен держаться за что-то реальное, иначе его унесет в туманное море смутных страхов.

А может, Джек прав? И он действительно сходит с ума?

Нет! Нет! Нет! Тут должна быть какая-то ужасная тайна, но какое это теперь имеет значение? Что теперь вообще имеет значение?

Эрнест чувствовал себя как корабль, блуждающий в тумане.

Впервые друг, к которому он обратился за поддержкой, не понял его.

Глаза юноши наполнились горькими слезами.

И над всем этим звучал мелодичный, с богатыми интонациями голос Кларка.

Эрнест слушал, как другой человек читает его собственную пьесу. Ужасающая фантастичность сцены ввергла его в транс. Он видел, как создания его воображения проходят перед ним в шутовском хороводе; так человек в ночном кошмаре видит, как из-за двери высовывается усмехающееся лицо двойника.

Все они были здесь. Безумный король. Хитрые придворные. Печальный принц. Королева-мать, которая любила шута больше, чем своего цар-

ственного супруга, и плод их постыдной связи – принцесса Мериголд, создание из солнечного света и греха.

Действие стремительно развивалось. Тень надвигающейся смерти окутала дом короля. Под страшной пыткой, в агонии, старый шут сознался. Без колпака с бубенцами, в кровавом венке, он был так патетичен и забавен, что принцесса Мериголд не могла удержаться от смеха сквозь слезы.

Королева тоже присутствовала, дрожащая и бледная. Без единого слова жалобы, она смотрела, как умирает ее возлюбленный. Меч палача отсек ему голову. Она покатилась к ногам короля, который оттолкнул ее к Мериголд. Маленькая принцесса поцеловала ее и накрыла искаженное ужасной усмешкой лицо желтой вуалью.

Стихли последние слова.

Аплодисментов не было. Только молчание. Все были потрясены. Подобное ощущение люди испытывают там, где веет дыхание Бога или вдохновленного им гения.

Юноша откинулся на спинку стула. Холодный пот заливал глаза, в висках пульсировала кровь. Ее прилив заглушил пронзительный вопль напряженных нервов, на время притупив сознание и боль.

XII

Ночь как-то прошла – в горьких страданиях, но прошла.

Губы Эрнеста запеклись, бессонница оставила темные круги вокруг глаз, когда на следующее утро он встретился с Кларком в кабинете.

Реджинальд сидел за письменным столом в характерной позе, подперев голову рукой и пронзительно глядя на юношу.

– Да, – заметил он, выслушав рассказ, – это удивительный психический феномен.

– Вы не можете представить себе, насколько реальным все это выглядело для меня. – В голосе юноши звучала горечь, у него все еще был потрясенный вид. – Даже теперь мне кажется, будто я чего-то лишился; какая-то мысль, которую я никак не могу вспомнить, – продолжал Эрнест.

Реджинальд рассматривал его, словно врач, изучающий особенно интересный случай психического заболевания.

– Не беспокойся, мой мальчик. Я не использую тебе во вред твое поразительное заблуждение. Перед отъездом Джек мне все рассказал. Он также припомнил различные случаи в прошлом, когда ты оказывался на грани нервного срыва.

Нервный срыв! Не является ли этот термин всего лишь эвфемизмом для обозначения безумия?

– Дитя, не надо отчаиваться, – ласково продолжал Реджинальд. – Твое недомогание небезнадежно и вполне излечимо. Подобные кризисы бывают у каждого пишущего человека. Это дань, которую мы платим Творчеству. Миннезингеры далекого прошлого писали свои песни кровью сердца; теперь наши перья являются продолжением наших нервов. Мы анализируем жизнь, любовь, искусство – и скальпель, которым мы препарируем души других людей, в конце концов, оборачивается против нас самих.

Но как же следует поступить? Следует ли отказаться от искусства ради здоровья и пожертвовать тем, что возвышает человека над всеми созданиями? Животные тоже думают. Некоторые ходят

на двух ногах. Однако именно способность к самоанализу отличает человека от всех остальных существ. Должны ли мы отказаться от осознания собственного «я» ради самодовольства быка, жующего траву в тени дерева, или жизнерадостной тупости мула?

Определенно – нет.

– Но что же делать?

– О, я не могу ответить на этот вопрос. Математики решают задачи, которые имеют конкретные ответы. Жизнь ставит перед нами менее конкретные вопросы, на которые возможны различные ответы. Один плюс один всегда равняется двум, как сегодня, так и завтра. Психические явления в различных ситуациях могут иметь различные последствия. Однако твой случай вполне очевиден. Ты переутомился – и умственно, и эмоционально. Перевозбуждение обернулось неврастенией.

– Вы думаете, мне следует подлечиться в каком-нибудь санатории? – спросил юноша дрогнувшим голосом.

– Боже упаси! Отправляйся куда-нибудь на побережье, где ты сможешь спать и развлекаться. Забирай свое тело, а мозг оставь здесь; по крайней мере, не бери с собой больше мыслей, чем это необходимо. Летний сезон в Атлантик-Сити только начинается. Там, как, впрочем, повсюду в американском обществе, тебе будут рады тем больше, чем меньше у тебя мозгов.

Полушутливый тон Реджинальда немного успокоил Эрнеста. Он робко осмелился еще раз затронуть странное происшествие, которое так сильно нарушило его душевное спокойствие.

– Как вы можете объяснить мое странное наваждение; по сути, манию?

– Если бы это можно было объяснить, это не было бы странным.

– Значит, у вас нет совсем никаких предположений?

– Возможно, лист бумаги на моем столе с набросками сюжета, какое-то мое замечание – кто знает? Возможно, идея витала в воздухе. Все может быть… но лучше мы не станем говорить об этом. Иначе ты опять возбудишься, а это сейчас вредно.

– Вы правы, – грустно заметил Эрнест. – Не будем говорить об этом. Но как бы то ни было, вы написали восхитительную пьесу.

– Ты мне льстишь. В ней нет ничего, что было бы непосильно для тебя – по крайней мере, когда-нибудь в будущем.

– Ах, нет, – ответил юноша, с восхищением глядя на Реджинальда. – Вы – мастер.

XIII

Эрнест лениво растянулся на пляже Атлантик-Сити. Море, этот исцелитель душ, смыло нервное возбуждение и волнения последних дней. Ветер был в его волосах, свежий морской воздух в его легких, солнечные лучи гладили его тело. Он перевернулся на сверкающем песке, наслаждаясь самим ощущением жизни.

Волны набегали на берег, словно пытаясь ласкать его, но откатывались назад, так и не достигнув цели. Казалось, влюбленное море тянет к нему свои руки. Кто знает, возможно, сквозь толщу прозрачной воды какая-нибудь зеленоглазая нимфа смотрит на юношу влюбленным взглядом. Живущие в глубине любят молодую, горячую, красную человеческую кровь. Они всегда выби-

рают молодых, чтобы завлечь в свои подводные жилища; дрожащие члены стариков, бредущих к могиле, их не привлекают.

Такие фантазии бродили в голову Эрнеста, когда он лежал на пляже, бездумно счастливый, словно животное.

Солнце и море казались ему двумя возлюбленными, оспаривающими его благосклонность. Резкая смена обстановки помогла полностью расслабиться и утешила измученную душу. Теперь он был не одиноким существом, но единым целым с ветром и водой, травой, песком и раковинами. Почти с чувственным наслаждением он пропустил сквозь пальцы горячий песок и зарылся в него грудью.

Проходящая мимо девушка кокетливо взглянула на него. Эрнест не отреагировал. Даже улыбнуться казалось ему чрезмерным усилием.

Так он лежал часами. После полудня он с огромным трудом стряхивал дремотное настроение и заставлял себя сменить легкомысленный пляжный наряд на обычный костюм светского человека.

Эрнест остановился в фешенебельном отеле. Внезапная удача – литературная поденщина, за которую неожиданно хорошо заплатили, – позволила ему на какое-то время предаться блаженному безделью, не думая о необходимости зарабатывать деньги.

Одна статья, на счет которой он испытывал сомнения и под которой неохотно поставил свое имя, принесла больше, чем дюжина изысканных сонетов.

«Определенно, – размышлял он, – социальная революция должна начаться сверху. Какое право имеет какой-нибудь каменщик быть недоволь-

ным, когда он зарабатывает в неделю даже больше, чем я за свои стихотворения».

Произнося этот внутренний монолог, он вошел в ресторан. Все как обычно; изыскано накрытые столы, изыскано одетые женщины.

Обед уже был в самом разгаре. Пробормотав извинения, он сел на единственно свободный стул по соседству с юношей, который напоминал хорошо одетую куклу. С легкой скукой Эрнест осматривался по сторонам в поисках более приятных лиц, как вдруг его внимание привлекла сидящая напротив женщина. На ней было шелковое платье с затейливым кружевным воротником, открывавшим тонкую шею. Изысканность платья смягчалась подчеркнутой простотой ее прически – густые каштановые волосы были собраны в один тяжелый узел. Она не смотрела на него, но что-то в повороте головы показалось Эрнесту знакомым. Когда она, наконец, взглянула на него, он чуть не выронил бокал: это была Этель Бранденбург. Она заметила его удивление и улыбнулась. Когда же она заговорила, он, услышав мягкие интонации, понял, что не ошибся.

– Скажите, – задумчиво спросила она, – вы тоже меня забыли? Все они забыли.

Эрнест поспешил заверить ее, что не забыл. Он теперь вспомнил, как был представлен ей несколько лет назад в доме Уолкхэма, когда он, еще совсем юный студент, был удостоен чести присутствовать на одном из знаменитых приемов, устраиваемых мастером. Тогда она казалась очень уверенной в себе и счастливой, совсем не такой, как те женщины, которые пожирали глазами Реджинальда в ресторане на Бродвее.

Тогда Эрнест был рад знакомству и считал, что ему повезло. Он столь много слышал о ней, что ему казалось, будто они знакомы много лет. Ей

тоже было легко с ним. Никто из них тогда не произнес имя Реджинальда Кларка. Однако именно это имя и сознание того, чем он для них является, связало их души воедино.

XIV

92 Прошло три дня с момента их встречи. С каждым часом они становились все ближе друг другу.

Этель сидела в плетеном кресле и механически чертила зонтиком круги на песке. Эрнест сидел у ее ног, обняв руками колени, и пытался поймать ее взгляд.

– Почему ты так упорно добиваешься моей любви? – спросила она с полунасмешливой улыбкой, с какой тридцатилетняя женщина обычно принимает ухаживания юноши. В такой улыбке всегда есть доля неискренности, однако это всего лишь защитная реакция против любовного напора молодости.

Иногда случается, что мольба в глазах юноши и кипение крови преодолевают насмешливое превосходство женщины; она слушает, влюбляется и… проигрывает.

Этель Бранденбург слушала Эрнеста, однако мысль о любви пока еще не завладела ее сознанием. Эрнест интересовал ее постольку, поскольку был юн, и его голос трогательно дрожал, когда он говорил о своих чувствах. Но, пожалуй, больше всего ее привлекало то, что он близко знал человека, все еще владевшего ее сердцем. Таким образом, вопрос был с ее стороны не более чем игрой.

Почему он добивается ее любви? Эрнест не знал. Возможно, это была непреодолимая потребность в ласке, которая так роднит поэтов с домаш-

ними котами. Но что он мог ответить? Вежливые банальности были неуместны между ними.

Кроме того, он знал, какова бывает плата за любовные связи. Женщины склонны рассматривать любовь как тонкую нить, которая тянется в бесконечность. Это может дорого обойтись; это может стоить нам самого ценного, единственного, чего нельзя вернуть, – времени. А для Эрнеста время означало творчество; о деньгах он не заботился. Господь одарил его способностью слагать стихи; лишь в промежутках, свободных от творчества, он мог прислушиваться к голосу сердца – это самый странный часовой механизм, который отсчитывают время не минутами и часами, но рождением и смертью любви.

Женщина рядом с ним, казалось, прочла его мысли.

– Милое дитя, зачем ты играешь с любовью? Подобно Иегове, любовь – ревнивый бог, который потребует все твое сердце без остатка. Горе женщине, которая изберет себе в возлюбленные поэта. Я признаю, это доставляет острые ощущения, но это игра ва-банк. Искусство или любовь – что-то будет принесено в жертву. Никто не может равно служить и тому, и другому. Истинный поэт неспособен на любовь к женщине.

– Ну! Это преувеличение. Конечно, в твоих словах есть доля истины. Но это лишь одна сторона, а истина, как ты знаешь, двулика, подобно Янусу. На самом деле, зачастую у истины более двух лиц. Могу тебя заверить, что я испытывал глубокие чувства к женщинам, для которых писал любовные стихи. Надеюсь, ты не будешь сомневаться в искренности моих чувств?

– Боже упаси! Но только ты неправильно выразил свою мысль. Правильнее сказать, что ты писал про них, а не для них.

Эрнест удивленно уставился на нее.

– Ты чертовски умна! – воскликнул он.

Последовало молчание, потом Эрнест нерешительно спросил: «А ты применяешь свою теорию ко всем художникам, или только к нам, к тем, кто забавляется с рифмами?»

– Ко всем.

Он продолжал вопросительно глядеть на нее.

– Да, – сказал она с печалью в голосе. – Мне тоже пришлось заплатить свою цену.

– Что ты имеешь в виду?

– Я любила.

– А искусство?

– Оно было принесено в жертву.

– Возможно, ты выбрала лучшее из двух, – заметил Эрнест, однако в его голосе не было уверенности.

– Нет, – возразила женщина, – моя жертва оказалась напрасной.

Она произнесла это спокойно, но Эрнест чувствовал, что ее слова полны скрытого трагизма.

– Ты все еще его любишь? – просто спросил он.

Этель ничего не ответила. Ее лицо стало печальным, словно серый туман накрыл водную гладь. Молча смотрела она на море, следя за полетом чаек.

В этот момент он мог бы обнять ее и поцеловать со всей своей еще нерастраченной нежностью.

Однако нежность между мужчиной и женщиной – как спичка в пороховом погребе. Малейшая неосторожность, и последует любовный взрыв, сметая карточный домик платонических отношений. Стоит поддаться мгновенному порыву, и кровь закипит, а от огня внутри нас нет спасения.

– Да ладно, – сказала она, – ты же меня не любишь.

Он запротестовал.

– Ну и сколько сонетов ты готов посвятить мне? – с иронией спросила она. – Если бы ты добывал золото, вместо того, чтобы изобретать рифмы, я попросила бы у тебя много денег. Однако было бы несправедливо требовать плату монетой за то, что мы так мало ценим. Для человека, страдающего от голода в золотоносной шахте, кусок хлеба дороже всех сокровищ мира. Для тебя, я полагаю, мерой стоимости являются стихи. Сколько ты посвятишь мне? Один, два, три?

– Больше.

– Видимо, ты полагаешь, что любовь окупит с процентами твои затраты.

Он рассмеялся.

А когда любовь находит выход в смехе, опасность на время отступает.

XV

Прошли три недели без каких-либо видимых изменений в их отношениях. Эрнест обладал природным магнетизмом, который постоянно и невольно применял, однако Этель решительно сопротивлялась, постоянно была начеку и отражала его напор.

Когда, наконец, неотложные дела потребовали его немедленного отъезда в Нью-Йорк, он все еще ничего не добился. Однако Этель в глубине души чувствовала, что если и не влюблена, то, по крайней мере, очарована Эрнестом. К тому же она испытывала к нему материнские чувства, которые не так уж далеки от любви как таковой. Она отважно боролась с любыми признаками пробужда-

ющегося чувства, ни на минуту не упуская из вида разницу в возрасте и тот факт, что двадцать плюс тридцать равняется пятидесяти.

Чувствуя, как слабеет ее защита, она все время старалась избегать личных проблем в беседе и направлять ее на какие-либо общие темы, в частности, на его работу.

– Скажи, – обратилась она к Эрнесту, небрежно обмахиваясь веером, – какие новые впечатления для творчества ты почерпнул здесь, на побережье?

– Множество! – воскликнул он с энтузиазмом. – Я напишу главный роман моей жизни, как только вернусь в свое тихое убежище на Риверсайд-драйв.

– Великий американский роман?! – поддержала она его.

– Возможно.

– И кто же будет твоим героем – Кларк?

В ее тоне был легкий оттенок злости, точнее в паузе между предпоследним словом и именем. Эрнест это заметил и почувствовал, что ее любовь к Реджинальду умерла. Окоченевшее и холодное, это чувство покоилось в глубине сердца – рядом со сколькими другими? – заключенное в саркофаг памяти.

– Нет, – ответил Эрнест, несколько раздраженный вопросом. – Кларк вовсе не будет героем. С чего ты взяла, что он влияет на все мои поступки?

– Милый мальчик, я знаю его. Он не упускает случая испытать силу своей неординарной личности на каждом, с кем сводит его судьба; при этом он попирает интеллектуальную независимость других людей. Более того, он настолько одарен и настолько убедителен в своих речах, что у других пропадает стимул прилагать собственные усилия. В лучшем случае, его влияние приведет к тому,

что твое развитие пойдет в соответствии с затейливыми порождениями его ума – причудливого, утонченного и развращенного. Ты станешь умственным уродом – как одно из тех искривленных японских деревьев, противоестественных и гротескных, рост которых определяется не законами природы, но болезненным восточным воображением.

– Я отнюдь не слабоволен, – возразил Эрнест, – и твое представление о Кларке в корне неверно. Его блестящие успехи являются для меня источником постоянного вдохновения. У нас есть кое-что общее, однако я осознаю, что добьюсь успеха совершенно независимо от него. Он никогда не пытался влиять на меня; на самом деле, я никогда не получал от него даже малейшего намека. – Тут призрак принцессы Мериголд внезапно встал перед ним, но он отмахнулся от него и продолжал. – Что касается моего будущего романа, то не нужно долго угадывать, кто станет главным персонажем.

– Кто же это будет? – насмешливо спросила Этель. – Ты сам?

– Этель, будь серьезнее, – ответил он с легким раздражением. – Тебе же ясно, что это будешь ты.

– Я крайне польщена. Действительно, ничто не может меня порадовать больше, чем возможность быть увековеченной на страницах книги, поскольку сейчас я вряд ли могу надеяться оставить о себе память с помощью карандаша или кисти. Меня и раньше изображали в романах, и я сгораю от любопытства по поводу твоего сюжета.

– Если позволишь, я пока не буду рассказывать. Скажу только, что ты будешь зваться Леонсией. Но все зависит от подхода. Ты же знаешь, не столь важно, что сказано; важно – как сказано. Именно это имеет значение. Так или иначе, любой намек на сюжет сейчас был бы преждевременным.

– Наверно, ты прав, – согласилась она. – В любом случае, расскажешь мне, когда сочтешь возможным. Давай сменим тему. Ты написал что-нибудь с тех пор, как издал свою прелестную книгу стихов прошлой весной? Сейчас у тебя должен быть самый разгар творческого сезона. К тридцати годам лирические страсти обычно утихают.

Вопрос Этель заставил его задуматься. Эрнест почувствовал легкую тревогу. Он не мог найти вразумительного ответа. Слова о его пьесе – пьесе Кларка – были готовы сорваться с губ, но он прикусил язык, понимая, что странное заблуждение, в плену которого он оказался тем вечером, все еще владеет его подсознанием. Нет, он почти ничего не сделал за прошедшие несколько месяцев, по крайней мере, в плане творчества. Поэтому он ответил, что зарабатывал деньги.

– Это не так уж плохо, – заметил он, будто оправдываясь. – Да и кто может каждый месяц выдавать по шедевру? Мозг художника – не автомат; к тому же, отдыхая от творческой работы, я набирался сил на будущее. Однако, – добавил он несколько раздраженным тоном, – ты меня не слушаешь.

Восклицание вернуло Этель к действительности от мыслей, которые пробудили в ней его слова. В этих объяснениях она узнала те же самые аргументы, которые неоднократно приводила самой себе, оправдывая свою бездеятельность в то время, когда она находилась под губительным влиянием Реджинальда Кларка. Да, именно губительным – она впервые решилась признаться в этом. Словно вспышка, ее озарило, что дело не только в ее любви; было что-то еще, что-то непреодолимое и таинственное, что полностью лишило ее творческих сил. Возможно ли, что та же сила

теперь воздействует на мятущуюся душу талантливого юноши? Однако она не могла четко сформулировать свои опасения. В ее глазах появилось страдальческое выражение.

– Этель, – вновь нетерпеливо обратился к ней Эрнест. – Почему ты не слушаешь? Ты понимаешь, что я должен расстаться с тобой через полчаса?

Она взглянула на него с глубокой нежностью. Что-то похожее на слезу блеснуло в ее больших, по-детски раскрытых глазах.

Эрнест это заметил, и был глубоко тронут. Сейчас он страстно любил ее.

– Глупый мальчик, – нежно сказал она; потом, понизив голос, добавила. – Ты можешь меня поцеловать.

Его губы нежно прикоснулись к ее губам, но она крепко взяла голову юноши ладонями и впилась в него долгим поцелуем.

Эрнест неловко отстранился. Его еще никто так не целовал.

– Хоть ты и поэт, но целоваться пока не научился, – прошептала Этель.

Она заметила, как его рука шарит в кармане жилета в поисках часов. Этель отпустила его, заметив с легкой обидой:

– Тебе нельзя опоздать на поезд. Отправляйся.

Напрасно Эрнест пытался протестовать.

– Отправляйся к нему, к нему, – твердила она.

С тяжелым сердцем, юноша подчинился. Издали он еще раз помахал ей шляпой, потом исчез в толпе. На какое-то мгновение смутные опасения овладели Этель, что-то внутри взывало к нему: «Не уходи! Не возвращайся в этот дом!». Однако ни звука не сорвалось с ее губ. Банальные приличия и здравый смысл заглушили внутренний голос. А золотая голова юноши исчезла вдали.

XVI

Пока поезд мчался к Нью-Йорку, все мысли Эрнеста занимала Этель Бранденбург. Он все еще чувствовал прикосновение ее губ, ощущал запах ее волос.

Однако как только он ступил на паром, идущий в Манхэттен, последние три недели словно стерлись – по крайней мере, на время, – из его памяти.
100 Все другие интересы, которые временно отошли на задний план, поскольку Этель не имела к ним отношения, вновь завладели им. Он уже предвкушал удовольствие от встречи с Реджинальдом Кларком. Привлекательность этого человека и притягательность его личности ощущались Эрнестом особенно остро, когда он какое-то время не общался с ним. Письма Реджинальда всегда были краткими. «Профессиональные писатели, – любил повторять он, – не могут позволить себе выражать свои сокровенные чувства в частной корреспонденции. Они должны беречь их для творчества». Эрнесту хотелось вновь оказаться в кабинете мастера, когда последние лучи солнца струятся сквозь оконное стекло, и до глубокой ночи обсуждать с ним глубины философских теорий. Он соскучился по голосу Реджинальда, его чуть манерному поведению, самому запаху его дома.

К тому же Эрнеста, вероятно, ожидала гора писем. Когда он спешно покидал Нью-Йорк, он намеренно не поставил знакомых в известность, куда отправляется. Только Джеку он послал короткую открытку на следующий день после того, как встретил Этель.

Он надеялся застать Реджинальда дома, хотя было уже десять часов вечера, когда Кларк обычно отсутствовал. Эрнест искренне проклинал совре-

менный транспорт, который не может мгновенно доставить его к месту назначения. Страшно подумать, сколько дней, месяцев и даже лет своего земного существования жители городов тратят в поездках – по сути, это впустую погубленное время. Раздражение, направленное против материальных обстоятельств жизни, овладело Эрнестом, пока он ехал в метро. Раздражение против всего, что приковывает душу к земле и не дает ей воспарить ввысь.

Когда, наконец, он добрался до дома, то узнал от консьержа, что Кларк вышел. В дурном настроении он вошел в квартиру и стал разбирать почту. Там были письма от редакторов с заказами, от которых он не мог отказаться. Всевозможные газеты и журналы готовы были поглотить все его время. Он сразу понял, что работу над романом придется отложить на несколько недель, если не месяцев.

Одно письмо было от Джека. Судя по штампу, тот отправил его из небольшого местечка в горах Адирондака, где отдыхал с родителями. Не без колебания – сам не зная, почему, – Эрнест вскрыл конверт. По мере чтения морщины на его лбу становились все глубже, на лице обозначились признаки недовольства. Что-то с Джеком было не так; с ним произошла какая-то трудноуловимая перемена. Казалось, их души вдруг стали чужими друг другу. Возможно, здесь лишь какой-то временный разлад; возможно, он сам виноват, однако это больно задело Эрнеста. Ему казалось, что в последнее время Джек перестал его понимать, что он уже не способен воспринимать причудливую игру его разума. Лишь один человек в целом свете имеет сходное видение мира, лишь один может понимать то, что он говорит, и то, что оставляет невысказанным. Реджинальд Кларк, неординарная личность и поэт, способен читать в его душе,

как в открытой книге. Этель тоже могла бы, если бы любовь не притупляла ее зрение.

С волнением Эрнест услышал – было уже около полуночи – звяканье ключа Реджинальда в дверном замке. Он нашел его все тем же, неизменившимся, по-прежнему великолепным. Реджинальд обладал способностью видеть душу человека, как она есть, в первозданной наготе. Хотя они не обсуждали Этель Бранденбург – было лишь упомянуто о ее присутствии в Атлантик-Сити, – Эрнест интуитивно понял, что Реджинальд видит, какие изменения произошли в нем за время отсутствия. С этим человеком он мог быть самим собой, ничего не стыдясь и не опасаясь, что его неправильно поймут. И – странное дело – вся привязанность, все теплые чувства, которые он испытывал к Этель и Джеку, теперь оказались обращены на Реджинальда Кларка.

XVII

На следующий день он написал Этель письмо, постаравшись вложить в него нежность, которой уже не испытывал. Она уязвила его гордость, оказавшись победительницей в игре страстей; к тому же ему нужно было всерьез заняться работой. Однако, не получив ответа на третий день, Эрнест огорчился. Он утвердился во мнении, что она ничуть не любила его, но просто играла с ним, поскольку в тот момент не имела других развлечений. При этой мысли он даже покраснел – так было ущемлено его самолюбие. И начал анализировать – по сути, препарировать, свои чувства.

Однако пора было возвращаться к работе. Именно она, а не мимолетный роман, придавала

смысл жизни. Какой далекой, почти нереальной казалась ему теперь Этель! Да, она была права, он не испытывал к ней глубоких чувств; и роман будет написан не для нее, а всего лишь *про* нее. Его интересует именно героиня романа, а не ее прототип.

Однажды в беседе с Реджинальдом он коснулся этой темы. Тот придерживался современного взгляда, согласно которому даже фотограф не должен изображать жизнь такой, как она есть, но только в преломлении личного восприятия. «Никто, – утверждал он, – никогда не был реально воплощен в художественном вымысле. В отличие от жизни, искусство – это процесс искусственного отбора».

Исходя из этой теории, Эрнест начал лепить из имеющегося материала новую Этель, более реальную, чем в жизни. К сожалению, он посвящал роману слишком мало времени. Только в конце дня, разобравшись с пачкой лежащих на столе журналов, он мог сосредоточиться на «Леонсии». В итоге, когда он ложился в постель, воображение было занято сюжетом будущей книги, и образы героев проходили перед его мысленным взором, мешая засыпать.

Когда же, наконец, усталость смыкала его глаза, мозг Эрнеста продолжал мыслить, однако не логично и стройно, но как-то неестественно и пугающе гротескно. Ему чудилось, что домовые крадутся к постели, чтобы завладеть его сознанием, а злые духи терзают его душу.

Загар быстро сошел с лица. В углах рта пролегли тяжелые складки. Казалось, кто-то каким-то невообразимым способом высасывает из него нервную энергию. У Эрнеста появились признаки истерии. Однажды вечером, за очередной халту-

рой для журнала, его охватил жуткий, необъяснимый страх, и только жужжание лифта снаружи вернуло его к реальности.

Как-то раз, находясь в подавленном состоянии, он написал стихотворение, которое показал Реджинальду, когда тот вернулся домой. Кларк читал его, поглядывая на юношу с неподдельным интересом.

О, сладкий сон, не покидай меня,
Сомкни мне веки и позволь забыть,
Все, что сбылось, и то, чему не быть,
Все тяготы и все тревоги дня.
Но нет! Воспалены сухие губы.
Виденья обольстительны, но грубы.
Блестят глаза – убийца поджидает
Меня. А может это страшный сон?
Ночной кошмар? Рассеется ли он
Когда-нибудь? Но нет, сопровождает
На всем моем пути мой страшный грех,
С которым не расстаться мне вовек,
Как Борджиа с отравою в ларце,
Или Нерон с безумством во дворце.

– Неплохо, – заметил он, откладывая листок. – Когда ты это написал?

– В ту ночь, когда вы были в городе.

– Понятно.

Нечто в его голосе насторожило Эрнеста.

– Что понятно? – спросил он.

– Ничего, – спокойно ответил Реджинальд. – Разве лишь то, что состояние твоих нервов все еще далеко от нормы.

XVIII

После отъезда Эрнеста сердце Этель Бранденбург одолевали противоречивые чувства. Прежде чем она успела восстановить душевное равновесие, пришло письмо от него, дав новую пищу беспокойству. Фальшивые интонации, явственно различимые в его словах, заглушали голос любви. Изысканные фразы блестели, но не грели. В них не было той непосредственности, которая придает даже самым простым и банальным словам обаяние искренности. Этель ясно понимала, что ее влияние на юношу было всего лишь мимолетным очарованием летней ночи, и что одно слово Реджинальда способно разрушить ее чары. Ей казалось, что она видит зловещую тень Кларка на письме Эрнеста; видит между строчек его торжествующую усмешку.

Наконец, она обрела способность рассуждать здраво, и разум подсказал ей, что было крайне неумно отдавать сердце неопытному юноше. Его чувство – она это знала – стало бы слишком требовательным, порой вызывая раздражение. Он постоянно искал бы сочувствия и внимания ко всем сторонам своей жизни; ожидал бы, что она будет проявлять искренний интерес к тому, с чем она, на самом деле, давно покончила. В результате в ее жизнь вошла бы ложь, отравив ее. Когда партнеры неравны, Любовь вынуждена прибегать к косметике, а иногда и надевать маску. На губах может быть мед, но в душе – печаль и страдания.

Все это Этель повторяла себе, когда сочиняла холодный и сдержанный ответ Эрнесту. Она переписывала письмо снова и снова, и с каждым разом ей было все труднее подобрать нужные слова. В конце концов, она отложила письмо, а когда спу-

стя несколько дней перечитала, оно показалось ей таким натянутым и неискренним, что было тут же порвано.

Прошло несколько недель, мысли об Эрнесте посещали ее все реже и реже, как вдруг в один сентябрьский день, просматривая журнал, она увидела его имя в оглавлении. Задумчивое лицо юноши вновь встало перед ее мысленным взором, и сердце Этель сжалось. Руки дрожали, когда она открывала журнал, слезы застилали глаза, когда она попыталась прочитать стихотворение. Это был блестящий образец поэзии, пронизанный, однако, мрачными настроениями. Словно одетые в черное полубезумные монахи, поглощенные мистическими обрядами, мысли поэта метались по странице. Это был вопль отчаяния измученной души человека, который чувствует, как разум покидает его, и безумие встает подобно огромной, бледной Луне. Ощущение передалось Этель. За смутными страхами, владеющими поэтом, она вновь явственно различила фигуру Реджинальда Кларка.

Страшное видение, затмевая сознание, появилось перед ней. Она увидела Кларка, каким знала его в прежние времена; потом он вдруг начал изменяться, пока не превратился в какое-то скользкое морское чудище, которое присосалось к ней своей жадной пастью и обвило ее тысячами щупальцев. Этель в ужасе закрыла глаза, стараясь избавиться от наваждения. И в ту же минуту поняла, что должна спасти Эрнеста Филдинга, вырвав его из когтей зловещей силы, уже накрывшей своей тенью его жизнь.

XIX

Лето пролетело быстро, и уже в середине сентября многие вернулись к удовольствиям городской жизни. Этель была в числе первых, кто возвратился в Нью-Йорк с курортов. После того как она решила взвалить на себя ответственность за судьбу молодого поэта, оставаться вдалеке от него казалось ей невыносимым. План был готов. Прежде чем увидеться с Эрнестом, Этель решила встретиться с Реджинальдом и умолять его освободить юношу от пагубных чар. В стремлении повидаться с Кларком играло роль и подспудное любопытство. Много лет назад, при расставании, Реджинальд, казалось, был сильно удручен и пообещал, что когда-нибудь сообщит ей нечто, что оправдает его в ее глазах. Тогда она ответила, что любые разговоры между ними бессмысленны и что она надеется никогда больше не встречаться с ним. Опыт прошедших лет не только не пролил свет на тайну личности Реджинальда Кларка; напротив, его поведение казалось еще более странным и необъяснимым. Неоднократно она ловила себя на мысли, что хотела бы встретиться с ним и беспристрастно проанализировать то удивительное влияние, которое он когда-то имел на нее. Теперь она, наконец, была готова взглянуть на него трезвым взглядом, без эмоций. Эта мысль льстила Этель. Она смутно ощущала, что смогла от чего-то избавиться. От чего-то, чем Реджинальд тогда привязал ее к себе, и без чего его магнетизм более на нее не действовал.

Поэтому, когда Уолкхэм прислал ей приглашение на один из своих приемов, она приняла его в надежде встретить Реджинальда. В последние несколько лет она не посещала мастерскую скуль-

птора именно потому, что там часто бывал Кларк. И вот теперь Этель вновь переступила порог дома, где встретила старых знакомых, со многими из которых давно не виделась. Когда около десяти вошел Реджинальд, раскланиваясь направо и налево, ее сердце учащенно забилось. Однако она смогла овладеть собой, и, встретившись с ним глазами, устроила так, что они оказались наедине в нише гостиной.

– Наша встреча была неизбежна, – заметил Реджинальд. – Я ожидал этого.

– Да, – подтвердила Этель, – мы были обречены встретиться вновь.

Словно бурный поток, пронеслись перед нею воспоминания.

Реджинальд был по-прежнему обворожителен, но она уже не поддавалась его чарам. Впрочем, и в Кларке произошли перемены. Складки в углах рта стали жестче, в глазах появился стальной блеск. Лишь на мгновение, когда он увидел ее, в его взгляде, казалось, мелькнуло что-то, похожее на нежность. Потом он добавил с легким налетом грусти:

– Надеюсь, мы не будем начинать наш разговор со лжи?

Этель ничего не ответила.

Реджинальд разглядывал ее с некоторым удивлением, потом спросил:

– Неужели твоя любовь к этому мальчику настолько сильна, что превзошла твою ненависть ко мне?

Так, значит, он знает!

Этель поморщилась.

– Он сказал тебе?

– Не проронил ни слова.

Было что-то сверхчеловеческое в его способности читать чужие мысли. Зачем хитрить с ним,

если его взгляд, словно взгляд божества, проникает в ее душу?

– Нет, – ответила она, – это не любовь, это сострадание.

– Сострадание?

– Да, сострадание к твоей жертве.

– О чем ты?

– Реджинальд!

– Я весь внимание.

– Я тебя умоляю!

– Говори!

– Ты уже разрушил одну жизнь!

Он удивленно поднял брови.

– Да, – жестко продолжала Этель, – разрушил! Неужели этого недостаточно?

– Я никогда намеренно не разрушал чью-либо жизнь.

– Ты разрушил мою.

– Намеренно?

– Как иначе я могу объяснить твое поведение?

– Я предупреждал тебя.

– Действительно, предупреждал! Как змея предупреждает птицу, гипнотизируя ее!

– Но с чего ты взяла, что змея виновата? Высшая, таинственная сила диктует нам законы жизни, которые пишутся кровью.

– Птице от этого не легче. Однако не будем о прошлом. Вернемся к настоящему. Я прошу тебя, оставь мальчика в покое; пусть он свободно развивается; не пытайся задушить в нем жизнь или разрушить его сознание.

– Этель, – запротестовал Реджинальд, – ты несправедлива. Если бы ты знала…

Тут какая-то внезапная мысль заставила его замолчать. Он с интересом взглянул на нее.

– Что бы я знала?

– Ты узнаешь, – просто ответил он. – Скажи, ты сильная?

– Достаточно сильная, чтобы не поддаваться тебе. Ты уже ничего не можешь мне дать и ничего не можешь забрать.

– Да, ничего, – согласился он. – Ты действительно изменилась. Однако когда я смотрю на тебя, тени прошлого встают передо мной, словно они реальны.

110 – Мы оба изменились. Теперь мы встретились на равных. Для меня ты больше не идол.

– А ты не думаешь, что для меня быть развенчанным идолом – это благо, а не унижение. Тяжело постоянно изображать из себя божество. Иногда даже самых сдержанных людей одолевает нестерпимое желание нарушить вечное одиночество, в котором пребывает душа. Именно это заставляет эксгибиционистов срывать с себя одежду и показывать людям свою наготу. Возможно, это безумие с моей стороны, или глупость, каприз, или не знаю что; однако меня радует мысль, что ты узнаешь правду.

– Ты уже давно мне это обещал.

– Сегодня я выполню обещание; я расскажу тебе такое, во что трудно поверить.

– Что же это?

– Я любил тебя.

Этель скептически улыбнулась.

– Ты часто любил.

– Нет, – ответил он. – По-настоящему я любил лишь раз.

XX

Они сидели в итальянском ресторанчике, где в старые времена часто коротали вечерние часы за бокалом «Лакрима Кристи». Однако сейчас вино не пробуждало никаких призраков прошлого. Лишь нечто, извивающееся, со змеиными глазами, словно гипнотизировало Этель, лишая ее дара речи, вызывая легкий озноб.

Когда официант удалился, Реджинальд заговорил – сначала лениво, в небрежной светской манере; однако по ходу рассказа его охватывало странное возбуждение, в глазах разгорался мистический огонь. III

– Ты должна извинить меня за то, что я единолично завладел беседой, – пояснил он, – однако признание, которое я должен сделать, настолько необычно, что я прошу уделить мне максимум внимание. Я начну с раннего детства. Ты помнишь фотографию, где мне пять лет?

Она, действительно, помнила. Все известные ей подробности жизни Кларка глубоко врезались в память.

– В то время, – продолжал Реджинальд, – я не был особенно талантливым. Дело в том, что моему уму, безусловно, острому и крайне восприимчивому, требовалось воздействие извне, дабы он мог проявить все свои свойства. Однако когда я пошел в школу, со мной произошла странная метаморфоза. Могу прямо сказать, что я стал самым блестящим учеником в классе. Ты и сама знаешь, что до сих пор я всегда оказываюсь самой примечательной личностью в любом обществе, где бы ни появился.

Этель согласно кивнула. Она молча смотрела на Реджинальда, и смутный отблеск истины замаячил где-то вдали перед ней.

Реджинальд поднял бокал, полюбовался игрой вина в свете лампы, и осушил его. Затем, понизив голос, продолжил:

– Подобно хамелеону, я обладал способностью перенимать окраску того, что меня окружало.

– Ты хочешь сказать, что способен присваивать себе способности других людей? – перебила она.

– Именно.

– О!

В мгновение ока многое стало ей понятно. Впервые она осознала – и это понимание с каждой секундой становилось все яснее – причину своего творческого краха. И еще явственнее видела ужасную опасность, в которой находится Эрнест Филдинг.

Реджинальд заметил ее волнение, которое, казалось, позабавило его.

– Но это еще не все, – с улыбкой заметил он. – Это пустяки. В конце концов, все мы в той или иной степени обладаем этой способностью. Секрет моей силы – в способности отвергать все, что вредно или несущественно для совершенствования моей личности. Это пришло не сразу, не без усилий. Однако когда я теперь оглядываюсь на свою жизнь, мне становится ясным многое из того, что когда-то было непонятным. Теперь мне видны как на ладони все хитросплетения моей судьбы; и в этой паутине я вижу высший замысел, великий и ужасный.

В голосе звучала непоколебимая убежденность. Действительно, что-то жуткое было в этом человеке. Этель он представлялся верховным жрецом какого-то страшного, таинственного культа, который требует человеческих жертвоприношений, чтобы утолить голод божества. Она была заворожена силой его личности и внимала почти с благоговейным трепетом.

– Моим первым другом был мальчик, обладавший блестящими математическими способностями. Когда мы впервые познакомились в школе, я не мог решить даже простейшую задачку по алгебре. Однако стоило нам близко пообщаться пару недель, как роли поменялись. Отныне я стал математическим гением, ему же ответы давались все с большим трудом. Потом я расстался с ним. Скажешь, это бессердечно? Я иного мнения. Ты когда-нибудь пробовала вино, которое долгое время хранилось в откупоренной бутылке? Если пробовала, то знаешь, что оно становится безвкусным – весь аромат, весь букет испаряется. То же самое в общении с людьми. Возможно – нет, наверняка! – есть какая-то сущность в человеческой душе или мозге; и когда она исчезает, люди делаются скучными, неинтересными и бесполезными для нас. Эта сущность не всегда является лучшим качеством мужчины или женщины, но она составляет основу души. Она может исчезать по разным причинам: в процессе роста; из-за какого-то несчастного случая или из-за собственной неосторожности; или же ее впитывает кто-то посторонний.

– И тогда мы отбрасываем этих людей? – побледневшая Этель нервно сжала в руке стакан.

Ее охватила дрожь. В этот момент Реджинальд Кларк был похож на истинного Князя Тьмы, зловещего и прекрасного, словно написанного кистью талантливого художника.

Затем он вновь стал светским человеком. Улыбаясь, сохраняя полное самообладание, он наполнил бокалы, сделал глоток и продолжил свое повествование.

– После этого мальчика было много других. Я впитывал множество полезного и кое-что дурное. Я понял, что должен управлять своей способностью. И научился это делать. Я постоянно отби-

рал, отсеивал, впитывал. И моя сила, которую я тогда еще не до конца постиг, росла день ото дня.

– Это действительно ужасная сила, – воскликнула Этель, – тем более ужасная, что она почти неощутима. Если бы я сама не стала твоей жертвой, то никогда бы не поверила в ее реальность.

– Невидимая рука, поражающая во тьме, определенно страшнее явного врага. В то же время она более милосердна. Представь, как бы ты страдала, если бы осознавала, что с тобой происходит на самом деле.

– Однако мне все равно кажется, – заметила Этель, – что это не могло быть полностью односторонней потерей. Любое действие рождает противодействие. Даже я – как и все остальные – должна была бы получить что-то взамен того, что ты забрал у меня.

– Закон действия и противодействия, и в самом деле, работает, когда речь идет о явлениях обыденной жизни. Однако нет правил без исключений. Возьми, например, радий, который постоянно излучает энергию. Это трудно представить, но ученые принимают это как факт. Так почему же нельзя представить себе некое вещество, обладающее огромной, практически неограниченной поглощающей способностью? Я уверен, что такое вещество где-то существует. Однако любое явление физического мира имеет свой аналог в сфере психики. Есть души, подобные радию, которые излучают, не теряя при этом энергии, хотя ничего и не приобретают. А есть души, противоположные радию, обладающие неограниченной поглощающей способностью.

– Души-вампиры, – заметила Этель, зябко передернув плечами. Ее лицо было бледно.

– Нет! Не смей так говорить!

Ей казалось, что фигура Реджинальда увеличивается у нее на глазах. Его лицо осветилось, словно лицо божества. Торжественным тоном он продолжал:

– Во все века были гиганты, которым предопределено достичь величия, недоступного людям в их естественном развитии. Очень многих людей еще в детстве посещают различные видения, и они стремятся воплотить их в жизнь. Из камней воображения они строят дворец в царстве реальности, пытаясь осуществить свои мечты, порой чудовищные и неисполнимые. Большинство терпят неудачу и, падая с заоблачных высот, уже не могут подняться. Некоторые преуспевают. Это избранные. Это может быть Сын плотника, который на тысячелетия дал людям Закон Жизни, или простой Корсиканец, под орлиным взглядом которого рушатся земные царства. Однако чтобы выполнить свою миссию, они должны обладать стальной волей и мудростью сотен людей. Из стали они черпают волю, а из сотен умов – мудрость. Божественные посланцы, они появляются во всех сферах жизни. Властелины, в чьей воле находятся мир и война, они покоряют моря и открывают новые континенты. Без посторонней помощи они осуществляют то, что непосильно целым народам; подобно титанам, они тянутся к звездам и преуспевают там, где терпят неудачу миллионы людей. В искусстве они открывают новые эпохи, создают новые стили и направления. Их устами говорит Бог. Гомер и Шекспир, Гюго и Бальзак – все они, словно линзы, собирали рассеянные лучи тысяч слабых источников света и разжигали огромное пламя, которое, как гигантский факел, освещает путь человечества.

Этель потрясенно смотрела на него.

Реджинальд замолчал, утомленный; свет в его лице погас. Однако и теперь он казался воплощением силы, одновременно ужасной и величественной. Этель осознала всю грандиозность его теории; но душа женщины восстала против чудовищной несправедливости в отношении тех, чей огонь потух, как это случилось с ней, чтобы поддержать чужое пламя. И тут из бокала с вином на нее словно взглянуло бледное лицо Эрнеста.

– Жестокость! Какая жестокость! – воскликнула она.

– Ну и что? – спокойно заметил Реджинальд. – Да, у кого-то отнимают их силу, зато человечество продолжает свой триумфальный путь.

XXI

За откровениями Реджинальда последовало долгое молчание, нарушаемое лишь услужливым официантом. Чары были развеяны; они обменялись ничего не значащими фразами. Мысли Этель вновь и вновь возвращались к тому, что так и не было произнесено. Реджинальд ничего не сказал о воздействии его разрушительной силы на ее собственную жизнь и на жизнь Эрнеста Филдинга.

Наконец, испытывая некоторую робость, она решилась коснуться этого предмета.

– Ты сказал, что любил меня.

– Да.

– Но тогда почему?..

– Это сильнее меня.

– Ты хоть когда-нибудь пробовал сопротивляться этому?

– Много ужасных ночных часов я провел, пытаясь бороться с этим. Кстати, я просил тебя, чтобы ты меня оставила.

– О! Но я любила тебя!

– Ты не слушала меня, не хотела вникать в мои предостережения. Ты оставалась со мной, и постепенно твоя творческая сила иссякала.

– Но что, черт возьми, могло тебя привлечь в моих скромных работах? Что особенного ты нашел в моих картинах?

– Они были нужны мне, как и ты. В твоих картинах что-то было, возможно, богатая цветовая гамма. А потом, прямо на твоих глазах, цвета на полотнах поблекли, но они проявились в моей прозе. Мой стиль стал еще более ярким, в то время как твоя измученная душа тщетно пыталась вернуть кисти то, что было безвозвратно утрачено.

– Почему ты мне ничего не сказал?

– Ты бы рассмеялась мне в лицо, а этого я не хотел. К тому же, я надеялся – пока не оказалось слишком поздно, – что смогу контролировать свою таинственную силу. Однако, в конце концов, я понял, что она сильнее меня. Неизвестный бог, чьим орудием я являюсь, в своей мудрости наделил меня силой, которая мне неподвластна.

– Но зачем, – возмутилась Этель, – нужно было выбрасывать меня, как поношенную одежду, как шлюху, которая уже не доставляет наслаждения?

Ее затрясло при воспоминании о том, как тогда, несколько лет назад, Реджинальд холодно и вежливо сообщил ей, что она больше ничего для него не значит.

– Закон жизни, – ответил Реджинальд, и в его голосе прозвучало что-то, похожее на печаль. – Закон моей жизни. Наверно, я должен был бы пожалеть тебя, но твои страдания были для меня

постоянным упреком и лишь вызывали раздражение. С каждым днем ты все меньше значила для меня, а когда я выжал из тебя все, что мне было нужно, ты стала для меня чужой, все равно, что мертвой. У нас больше не было никаких общих интересов; поэтому я понимал, что отныне наши жизни должны протекать в разных сферах. Помнишь день, когда мы распрощались?

– Ты имеешь в виду день, когда стояла перед тобой на коленях? – поправила его Этель.

– В тот день я окончательно похоронил свои надежды на личное счастье. Я был бы рад поднять тебя с пола, но любовь ушла. Совсем. И если я сегодня более нежен с тобой, чем хотел бы сам, то лишь потому, что ты много для меня значишь как символ моего самоотречения. Когда я понял, что не могу защитить от самого себя даже то, что люблю, я стал более жестким и даже жестоким по отношению к другим. Не то чтобы я не мог испытывать добрые чувства, но никакие угрызения совести не служат для меня препятствием. В жизни для меня существует лишь моя миссия.

Казалось, он пришел в исступление. Зрачки глаз расширились и словно светились, источая угрозу. Сейчас Реджинальд был похож на безумца или пророка.

Помолчав, Этель заметила:

– Но ты стал одной из выдающихся личностей нашего времени. Почему бы не удовольствоваться этим? Неужели твоему честолюбию нет предела?

Реджинальд улыбнулся.

– Честолюбие! Шекспир остановился, когда достиг высшей точки своего творческого развития; того, что было возможно для человека его времени. Я пока что не готов отложить перо и почивать на лаврах.

– И ты продолжишь идти своим преступным путем? Будешь разрушать чужие жизни?

Он спокойно посмотрел ей в глаза.

– Я не знаю.

– Ты раб своего неведомого бога?

– Мы все рабы; марионетки, которых дергают за ниточки. Ты, я, Эрнест. Ни на земле, ни выше нет свободы. Тигр, терзающий ягненка, не свободен; я не свободен, ты не свободна. Все, что происходит, должно произойти; ни одно слово не произносится напрасно, ни одна рука не поднимется без причины.

– Тогда, – живо откликнулась Этель, – если я попытаюсь отнять у тебя твою жертву, я тоже буду действовать как орудие твоего бога?

– Разумеется. Но я – избранный.

– А ты мог бы… отпустить его?

– Мне он еще нужен. Потом можешь его забирать.

– Но не мог бы ты – я готова просить на коленях – хотя бы ослабить цепи, пока он совсем не деградировал?

– Это выше моих сил. Если я не смог спасти тебя, которую любил, то с какой стати я буду спасать его от уготованной ему судьбы? К тому же его личность не будет полностью разрушена. Я беру у него лишь часть души; что-то я оставляю нетронутым, и, возможно, когда-нибудь он окрепнет и сумеет этим воспользоваться. Ты тоже могла бы облегчить свои страдания, если бы попыталась добиться успеха на каком-то новом поприще – но не там, где я уже собрал урожай. Что касается Эрнеста, то я забираю только часть его таланта. Ничто не помешает ему воспользоваться остальным.

Он взглянул в окно, на ночное небо, словно давая понять, что никакие мольбы не смогут по-

колебать его несгибаемую волю, подобно тому, как невозможно изменить движение звезд по небесному своду.

Этель уже почти не думала о страданиях, которые причинил ей этот человек. Его нельзя было судить по обычным меркам, этого поразительного безумца, чья злая воля и честолюбие превосходят все мыслимые пределы. Однако на кону была молодая жизнь. Ей представилось, как Реджинальд
120 своими руками безжалостно сжимает хрупкую душу Эрнеста Филдинга, подобно тому, как великолепный хищный цветок смыкает красочные лепестки над беззащитной мушкой.

Любовь, всепобеждающая любовь, пробудилась в ней. Она будет драться за Эрнеста, как тигрица за своего детеныша! Она встанет между ним и зловещей силой, которая разрушила ее собственные надежды. Она спасет любой ценой талантливого юношу, который ее не любит.

XXII

Лучи заходящего солнца пробивались в окно комнаты Эрнеста. Он лежал на диване, забывшись тяжелым, глубоким сном, который не потревожило даже присутствие Реджинальда Кларка.

Тот стоял рядом с юношей, спокойный, неподвижный. Недавний бурный разговор с Этель не оставил ни следов на точеных чертах лица, ни морщин на безмятежно гладком лбу. С улыбкой поправляя пурпурную орхидею в петлице пиджака, сияющий, полный жизни, смотрел он на спящего. Потом коснулся рукой лба юноши, словно хотел вытереть капельки пота. При прикосно-

вении Эрнест вздрогнул. Реджинальд не убирал руку, и лицо спящего исказилось болью. Он застонал, но не проснулся; казалось, он не может преодолеть тонкую грань, которая отделяет сознание от беспамятства.

Наконец, с побелевших губ слетел вздох, затем другой, и Эрнест смог заговорить.

– Ради Бога, убери руку, – крикнул он, еще во сне.

В тот же миг мягкая улыбка на лице Реджинальда сменилась выражением свирепой жестокости. Теперь он походил не на культурного человека, но на хищного зверя, рассерженного тем, что добыча ускользнула от него. Он отдернул руку и осторожно вышел через приоткрытую дверь.

Едва он исчез, как Эрнест проснулся. Он испуганно огляделся вокруг, словно загнанный зверь, потом облегченно вздохнул и закрыл лицо руками. Тут раздался стук в дверь, и вновь вошел Реджинальд, спокойный, как и прежде.

– Можно сказать, ты спал сном праведника, – заметил он.

– Это не из-за лени, – ответил Эрнест, явно довольный тем, что Реджинальд нарушил его одиночество. – Просто у меня очень болит голова.

– Возможно, дневной сон тебе не на пользу.

– Может быть. Но в последнее время мне часто приходится отсыпаться днем, поскольку по ночам меня мучает бессонница. Наверно, это из-за несварения желудка, как ты и предполагал. Поистине, желудок – источник всех недугов.

– Но также и источник добра. Древние греки считали его вместилищем души. Я всегда полагал, что важнейшей частью биографии любого великого поэта является подробное описание его меню.

– Действительно, тот, кто ест сытный бифштекс утром на завтрак, не сможет в полдень написать сонет.

– Да, – согласился Реджинальд, – мы есть то, что едим, а также то, чем питались наши отцы и деды. Я приписываю пресность американской поэзии тем лепешкам, которые ели наши предки-пуритане. К сожалению, сейчас мы не можем подробнее обсудить этот предмет. Я приглашен на ужин, где намерен на практике изучить влияние французских соусов на мои поэтические способности.

– Счастливо отдохнуть.

– Оревуар.

Махнув на прощание рукой, Реджинальд вышел из комнаты.

Когда дверь закрылась, мысли Эрнеста приняли более серьезное направление. Легкий, шутливый тон беседы скрывал неприятную проблему. В последние несколько недель кошмары мучили его по ночам, а мысли о них отравляли часы бодрствования. Дурные сны становились все реалистичнее, все ярче и все страшнее. Даже сейчас ему виделись длинные, тонкие пальцы, которые каждую ночь словно ощупывали извилины его мозга. Это были пальцы изящной формы, с ухоженными ногтями, которые проникали сквозь череп в ту священную обитель, где живут мысли.

Это было мучительно! Человеческий разум – не мертвый камень; он живой; он способен испытывать боль, ужасную боль! Что искали эти пальцы? Какие загадочные сокровища, какие драгоценности, спрятанные в глубинах сознания? Его мозг был подобен золотоносному руднику, содрогающемуся под ударами кирки шахтера. Шахтера, который день за днем, основательно и неумолимо вскрывает жилу за жилой и извлекает бесценные

сокровища из содрогающейся земли. Но каждая золотоносная жила – это его вена, а каждый золотой самородок – его мысль!

Неудивительно, что у него нервный срыв. Какая бы идея у него ни зарождалась, рука из ночных кошмаров похищала ее, грубо разрывая тонкие нити мыслей. А когда наступало утро, голова Эрнеста раскалывалась от боли. Это была не острая боль, но тупая, тяжелая, непрекращающаяся.

Эрнест пытался убедить себя, что все это лишь болезненная игра воображения. Однако сумасшедший, которому кажется, что ему отрезали руки, может, в конце концов, на самом деле лишиться рук. Разум способен как уничтожать препятствия, так и создавать их. Эрнест немного разбирался в психологии, и ему нетрудно было из разрозненных обстоятельств вывести объяснение видениям, которые преследовали его день и ночь. Но он также понимал, что объяснить проблему – не значит решить ее. Человек, способный анализировать свои эмоции, не всегда может избавиться от них; тень страха – примитивного, необъяснимого – может в моменты слабости омрачать жизнь даже самого тонкого психолога и глубокого мыслителя.

Он никогда не говорил Реджинальду о ночных кошмарах. Дойдя в своих фантазиях до крайности, когда он вообразил, что сам написал «Принцессу с желтой вуалью» (а в последнее время эта идея снова овладела им), Эрнест понимал, что Реджинальд может всерьез усомниться в его психическом здоровье. Возможно, тот отправит его в санаторий и уж точно не оставит в своем доме. Будучи радушным хозяином, Реджинальд, тем не менее, не потерпел бы ничего, что могло помешать его работе. Его реакция последует незамедлительно и будет жесткой.

Впервые за последние месяцы Эрнест подумал об Абеле Фельтоне. Бедный мальчик. Что сталось с ним после того, как ему указали на дверь? Сам Эрнест не стал бы дожидаться, пока ему предложат паковать вещи. Впрочем, это невозможно; Реджинальд так хорошо к нему относится.

Внезапно его размышления были прерваны шумом у входной двери. Раздался звук поворачиваемого в замке ключа. Наверно, это Реджинальд – но

почему так быстро? Что заставило его вернуться домой в столь ранний час?

Эрнест вышел из своей комнаты в прихожую. Фигура, которую он увидел, определенно принадлежала не тому, кого он ожидал. Это была женщина в длинном плаще; наверно, она пришла к Реджинальду. Эрнест уже собрался тактично удалиться, когда свет упал на лицо вошедшей.

Эрнест застыл в изумлении.

– Этель?! – воскликнул он.

XXIII

Эрнест провел женщину в свою комнату и помог ей снять плащ. Пока он вешал его на спинку стула, она убрала маленький ключ в сумочку. Он вопросительно взглянул на нее.

– Да, – подтвердила она. – Я сохранила ключ, но и не предполагала, что когда-нибудь снова переступлю этот порог.

Стемнело. Тусклый свет уличных фонарей рождал фантастически пляшущие тени.

Аромат духов наполнил комнату, и в юноше вспыхнули романтические чувства. Долго подавлявшаяся нежность вновь наполнила его сердце. Вечерний полумрак, необычность и неожиданность ее визита, а также, возможно, свойственное

юности тщеславие пробудили страсть и оживили в душе Эрнеста призрак любви. Руки обвили ее шею, а губы шептали бессвязные, безумные, нежные слова.

– Включи свет, – попросила она.

– Ты не всегда была так неприступна.

– Забудь об этом. Я пришла не для того, чтобы говорить о любви.

– Тогда зачем же ты пришла?

Что заставило ее прийти сюда? Эрнест отпустил Этель и включил свет.

Какой бледной она казалась в ярком электрическом свете, какой красивой! Определенно, он ей небезразличен. Но почему она не ответила на письмо?

– Твое письмо? – грустно улыбнулась Этель. – Неужели ты рассчитывал, что я отвечу?

– Почему нет?

Он снова приблизился к ней; их губы были так близко.

– Почему нет? – повторил он. – Я скучал по тебе. Я люблю тебя.

Его дыхание опьяняло ее, как наркотик, но она сумела взять себя в руки.

– Ты любишь меня сейчас – ты не любил меня тогда. Музыка твоих слов была холодной – механической, натянутой, неестественной. Я решила не отвечать; я сказала себе: в своем сердце он забыл тебя. Я тогда не осознавала, какая страшная сила завладела твоей жизнью и твоим разумом.

– Я не понимаю.

– Неужели ты думаешь, что я пришла бы сюда, если бы речь шла о пустяке? Нет, уверяю, для тебя это вопрос жизни и смерти, по крайней мере, как для художника.

– О чем ты говоришь?

– Ты написал хотя бы строчку с тех пор, как мы виделись в последний раз?

–Да конечно, статьи для журналов, стихотворение…

– Я говорю не об этом. Ты создал какое-либо большое произведение? Ты вырос за это время как художник? Как обстоят дела с твоим романом?

– Я… Я почти закончил его, в голове; но у меня не было возможности начать писать. В последнее время я плохо себя чувствовал; можно сказать, болел.

Никаких сомнений! Его лицо было бледным и осунувшимся, вокруг рта залегли болезненные складки, как у человека, которого терзает постоянная боль.

– Скажи, – продолжала допытываться она, – у тебя никогда ничего не пропадало?

– Ты спрашиваешь, нет ли здесь воров?

– Воры! От воров можно защититься!

Эрнест испуганно уставился на нее, ожидая услышать какие-то ужасные откровения. Его сны! Его ночные кошмары! Эта рука! Неужели это нечто большее, чем сон? О, Господи!

Губы юноши дрожали.

Этель заметила его возбуждение и продолжала, более спокойно, но настойчиво:

– У тебя когда-нибудь были какие-то идеи, планы, осуществить которые тебе не хватало сил? Тебя посещают видения, которые кажутся ужасающе реальными? Ты никогда не ощущал, будто какая-то мистическая злая воля грубо вмешивается в работу твоего мозга?

Ощущал ли он это? Эрнест и сам не смог бы точнее сформулировать то, что с ним происходит в последние месяцы. Каждое слово отдавалось в его голове, как удар колокола. Дрожа всем телом,

он прижался к ней, ища не любви – утешения. На этот раз она не оттолкнула его, и Эрнест доверчиво, как дитя матери, рассказал ей обо всех страданиях, превративших его жизнь в ад.

Она слушала, и в ней вскипали гнев и негодование, а на ресницах дрожали слезы любви. Зрелище страданий несчастного юноши было для нее невыносимым.

– Бедный мальчик! – воскликнула она. – Знаешь ли ты, кто твой мучитель?

Словно вспышка молнии страшная правда озарила его сознание. Ее намек подсказал ему то, что она не решилась выразить словами.

– Нет! Ради Бога, не произноси его имя! – воскликнул он. – Я этого не вынесу. Я сойду с ума!

XXIV

Спокойно, с трудом сдерживая собственные эмоции, чтобы еще больше не возбудить Эрнеста, Этель рассказала ему об удивительном разговоре с Реджинальдом Кларком. Последовало длительное молчание.

Впервые душа Эрнеста искренне потянулась к ней, и Любовь тысячами невидимых цепей пережитых страданий объединила их в одно целое.

Тонкие пальцы Этель нежно ласкали золотистые волосы юноши, гладили его лоб, словно стараясь отогнать мысли о страшном чудовище, горящие глаза которого следят за ним. Однако Эрнесту невольно припомнились многочисленные случаи, подтверждавшие ужасную правду. Его пьеса, его ночные кошмары, его неспособность сосредоточиться на новом романе – все, что он ранее при-

писывал своему нервному заболеванию, теперь, факт за фактом, сложилось в один чудовищный монумент преступлению Реджинальда Кларка. Теперь Эрнест понял, что означали прощальные слова Абеля Фельтона и тот взгляд Этель, когда она впервые увидела его вместе с Реджинальдом. Случай с Уолкхэмом и замечания Реджинальда по поводу бюстов Шекспира и Бальзака также ясно раскрывали Эрнесту новую и страшную сторону личности Реджинальда и подтверждали рассказ Этель.

А потом перед ним предстал другой Реджинальд, увенчанный лаврами выдающийся писатель. С его губ слетают сладкие звуки, нежнее запаха цветов или звона серебряного колокольчика. Он божественный мастер, в чьем благородном облике нет ни следа порока; он возвысил Эрнеста, допустив его так близко к своему сердцу.

– Нет! – закричал он. – Это невозможно! Это лишь дурной сон, кошмар!

– Но он сам признался мне, – возразила Этель.

– Возможно, он говорил иносказательно. Мы все в какой-то степени впитываем мысли других людей, но это не означает, что мы их обворовываем и разрушаем их жизнь. Реджинальд злоупотребляет своей способностью влиять на других людей, внушать им свои идеи. Такой способностью обладал и Шекспир. Нет-нет! Ты ошибаешься; мы оба в какой-то момент поверили столь колоритному объяснению вполне обыденных фактов. Возможно, Реджинальд подшучивал над тобой, развлекался, играл с этой идеей; но, конечно же, он не мог говорить все это серьезно.

– А твой собственный опыт, а случай с Абелем Фельтоном, а я? От этого ты хочешь просто отмахнуться?

– Но подумай сама, вся твоя теория абсурдна. И абсолютно антинаучна. Это даже не случай гипноза. Если бы он сказал тебе, что гипнотизировал свои жертвы, все выглядело бы совершенно иначе. Я признаю, что где-то что-то не так и пребывание в квартире Реджинальда Кларка плохо влияет на мое здоровье. Однако ты должна учитывать, что у нас обоих расшатаны нервы; мы на грани истерии.

Однако его слова не могли переубедить Этель.

– Ты все еще находишься под властью его чар, – с тревогой заметила она.

Ее настойчивость поколебала уверенность Эрнеста, однако он продолжил:

– Реджинальд абсолютно не способен на такие поступки, даже если представить, что он действительно обладает ужасной силой, о которой ты говоришь. Человеку блестящих талантов, литературному Мидасу, превращающему в золото все, к чему он прикасается, нет никакой необходимости красть чужие мысли. Я согласен, что некоторые обстоятельства подозрительны. Однако, по здравом размышлении, вся эта фантастическая теория просто рассыпается. Любой суд отверг бы наши свидетельства как бред сумасшедшего. Все это слишком невероятно и полностью противоречит жизненному опыту».

– Неужели? – заметила Этель с какой-то странной интонацией.

– На что ты намекаешь?

– Ты наверняка знаешь, что в легендах всех народов мы встречаем мужчин и женщин, которых называют вампирами. Это существа – и не всегда они абсолютное зло, – которых каждую ночь какая-то мистическая сила заставляет пробираться в спальни людей и высасывать кровь у спящих. Это восстанавливает их жизненные силы, после

чего они скрываются до следующей ночи. Губы таких людей неестественно красны. Говорят также, что они не находят успокоения в могилах, но часто возвращаются туда, где жили до того, как якобы умерли. А их жертвы без всяких видимых причин начинают слабеть и бледнеть. Врачи качают головами и предполагают чахотку. Однако иногда, как гласят предания, у людей возникают подозрения, и тогда они, под предводительством благочестивого священника, идут на кладбище к могиле подозреваемого лица. Когда могилу вскрывают, оказывается, что гроб уже почти сгнил, однако тело не подверглось тлению, в пустых глазницах не копошатся черви, а губы окрашены кровью.

Эрнеста невольно впечатлила нарисованная ею картина, однако он не собирался легко сдаваться.

– Должен признать, все это весьма занятно. Но ты сама говорила об этих историях как о легендах. Они не основаны на каких-либо доказанных фактах, и вряд ли ты ожидаешь, чтобы человек, получивший современное образование, поверил, что примитивные представления Средневековья могут иметь какое-то отношение к его жизни.

– Почему бы и нет? – ответила Этель. – Наши ученые подтвердили некоторые из самых невероятных средневековых теорий. Сегодня превращения металлов уже не кажутся пустыми фантазиями, а радий делает в перспективе возможным осуществление мечты о вечном двигателе. Многие выдающиеся умы, пытаясь проникнуть в сокровенные глубины природы, обращаются к спиритизму. Мир преодолевает скептицизм девятнадцатого века. Жизнь снова наполняется чудесами и загадками. Однако вместе с чудесами прежних веков в нашу жизнь возвращаются старые ужасы, кошмары и монстры, хотя и в современном обличье.

Эрнест задумался.

– Да, – согласился он, – в твоих словах что-то есть.

Он нервно зашагал взад-вперед по комнате, потом воскликнул:

– И все же мне невозможно поверить в твое объяснение. Реджинальд – вампир?! Это смехотворно! Если бы ты сказала мне, что такие существа живут где-то далеко отсюда, я еще мог бы обсуждать такую возможность; но здесь, в этом огромном городе, в тени небоскребов – нет! Это просто невозможно!

– И, тем не менее, они существуют, – мягко ответила Этель. – Они всегда существовали. Не только в Средние века, но во все времена и во всех странах. В той или иной форме предания о вампирах есть у всех народов. А если какая-то идея – пусть даже она кажется нам совершенно абсурдной, – занимает умы людей на протяжении многих веков, вновь и вновь повторяется у всех поколений, – разве не можем мы предположить, что она основана на реальном опыте человечества?

Эрнест нахмурился, преждевременные морщины избороздили его лоб. Каким изнуренным и хрупким выглядел он в эту минуту. Он словно оказался в темном лабиринте; и вопреки своей воле, точнее, вопреки своим научным взглядам, он все больше склонялся к мысли, что Этель не слишком ошибается в своих предположениях.

– И все же, – возразил он, – твои вампиры сосут кровь; а Реджинальд, который, по твоему мнению, тоже вампир, охотится за душой. Каким образом кто-либо может извлечь из мозга человека столь тонкую, неосязаемую сущность, как мысль?

– Ах, – вздохнула Этель, – мысль не менее реальна, чем кровь.

XXV

Прошло всего лишь три часа с тех пор, как приход Этель вывел Эрнеста из мрачного забытья, но за это короткое время их чувство созрело, словно каждый час был годом. Легкий румянец окрасил щеки Эрнеста, взгляд стал более спокойным и уверенным. Присутствие Этель пробудило его к жизни и вдохнуло силы для борьбы с могущественной властью Реджинальда Кларка. Теперь он уже

ощущал себя не ребенком, но зрелым мужчиной. Он не намерен сдаваться без борьбы, и Этель чувствовала, что может поручить ему его собственную судьбу. Любовь одела его в броню. Теперь он предупрежден и не окажется безвольной жертвой. Тем не менее, она еще раз попыталась убедить его немедленно, вместе с ней, покинуть дом Реджинальда Кларка.

– Мне пора уходить. Может, ты пойдешь со мной? Мне страшно оставлять тебя здесь.

– Нет, дорогая, – возразил он. – Я не покину поле боя. Я должен разрешить загадку этого человека; и если он действительно тот, кем мы его считаем, я попытаюсь вернуть себе то, что он у меня похитил. Я имею в виду свой ненаписанный роман.

– Не пытайся бороться с ним в открытую. Ты не справишься с ним.

– Я буду начеку. За последние несколько часов я пережил такое, что наполнило мою жизнь смыслом; и я не намерен безрассудно рисковать. Тем не менее, если наши подозрения небеспочвенны, я не могу уйти, не разрешив свои сомнения; не могу оставить здесь лучшую часть самого себя.

– Что ты собираешься делать?

– Моя пьеса – а теперь я твердо уверен, что она моя… – увы, ее мне уже не вернуть; она потеря-

на безвозвратно. Он прочел ее своим знакомым и подготовил к изданию. И как бы мы ни были убеждены в том, что Реджинальд обладает таинственной силой, никто нам не поверит. Нас просто объявят сумасшедшими. Возможно, мы *действительно* безумны.

– Нет, мы не сумасшедшие. Но с твоей стороны действительно безумство оставаться здесь.

– Я не останусь ни минутой дольше, чем это необходимо. За неделю я добуду решающее доказательство его вины или невиновности.

– Каким образом?

– Его письменный стол…

– О!

– Да, я надеюсь найти там какие-то записи, какой-то намек, доказательство…

– Это опасная игра.

– Но и ставка для меня велика.

– Жаль, что я не могу остаться здесь, с тобой, – вздохнула Этель. – У тебя есть кто-то, какой-нибудь друг, кому ты мог бы довериться в столь деликатном деле?

– Ну, пожалуй, Джек.

Тень пробежала по ее лицу.

– Мне кажется, ты любишь его больше, чем меня.

– Глупости, – решительно возразил Эрнест. – Он мой друг, а ты – неизмеримо большее.

– Вы так же близки, как и прежде?

– Не совсем. В последнее время словно какая-то невидимая преграда возникла между нами. Но он придет, если я его позову. Джек не оставит меня в беде.

– Когда он сможет приехать?

– Через два-три дня.

– А пока будь осторожен. И, кстати, запирай дверь на ночь.

– Я не только буду запирать дверь, я буду ее подпирать изнутри. Короче, я приложу все силы, чтобы разгадать эту загадку, не подвергая себя ненужному риску.

– Ладно, я пойду. Поцелуй меня на прощание.

– Проводить тебя до такси?

– Не стоит.

У двери она повернулась к нему.

– Пиши мне каждый день или звони по телефону.

Эрнест расправил плечи, словно стремясь доказать ей свою силу. Однако когда дверь за ней закрылась, мужество на какой-то момент покинуло его. Если он не стыдился проявлять свою слабость даже перед любимой женщиной, то кто знает, что сможет придать ему силы, когда он один, в доме, где в каждом углу прячутся страшные тайны?!

Сердце Этель тоже терзали дурные предчувствия, когда она покидала дом Реджинальда, оставляя юношу одного – беспомощная жертва неведомой силы, появляющейся в разных обличьях, создающей и низвергающей императоров, пророков и поэтов.

Когда она садилась в такси, перед нею, словно видение, встало лицо Реджинальда Кларка. Оно казалось очень бледным, искаженным голодом. В его лице не было ни следа доброты – лишь угроза и презрительная усмешка.

XXVI

Целый час Эрнест метался по комнате, крайне взволнованный откровениями Этель. Ему потребовалось все самообладание, чтобы суметь написать несколько строчек Джеку: «Ты мне нужен. Приезжай».

Вручив письмо консьержу, Эрнест немного успокоился и обрел способность оценивать ситуацию если не хладнокровно, то, по крайней мере, с некоторой долей здравого смысла. Самым странным было то, что он не мог заставить себя ненавидеть Реджинальда, в чьем пагубном влиянии на свою жизнь теперь совершенно уверился. Перед ним был еще один поверженный идол; однако – словно лик полуразрушенной статуи древнего бога в пустыне – он и сейчас сохранял невероятную притягательность.

Повинуясь внутреннему импульсу, Эрнест стал пересматривать фотографии, и его вновь поразил строгий, благородный облик хозяина и друга. Нет – это совершенно нелепо; этот человек не может нести в себе зло. В его лице нет ни следа греха или злобы; это лицо пророка или вдохновенного безумца, поэта. И все же, когда он внимательно рассматривал фотографии, странные изменения происходили с лицом Реджинальда: в углах рта пролегли жесткие складки, а в глазах появилась ехидная усмешка удачливого вора. Однако Эрнест не испугался. Прежние опасения обрели конкретную форму, и отныне он будет начеку. Наиболее опасны именно невидимые, неопределенные и непонятные страхи, таящиеся в ночной темноте, которые доводят чувствительные натуры до грани безумия и превращают мужественных воинов в трусов.

Эрнест понимал, что изучение бумаг Реджинальда придется отложить до утра, поскольку было уже около одиннадцати, и он ожидал в любой момент услышать звук шагов. Он тщательно запер дверь и придвинул к ней стул. Чтобы дополнительно подстраховаться, Эрнест привязал руч-

ку двери к изысканной китайской вазе (подарок Реджинальда), так что при малейшей попытке проникнуть в комнату она бы с грохотом разбилась.

Потом он лег в постель, хотя и полагал, что не сможет сомкнуть глаз всю ночь. Однако, как только голова коснулась подушки, веки налились свинцовой тяжестью. Все волнения и тревоги этого дня оказались слишком утомительны для него. Эрнест привычно накрылся одеялом с головой и заснул.

Всю ночь он крепко спал, и было уже позднее утро, когда стук в дверь заставил его пробудиться. Это был слуга Реджинальда, который сообщил ему из-за двери, что завтрак готов.

Эрнест поднялся, протирая глаза. Вид баррикады у двери сразу заставил его вспомнить все, что произошло накануне вечером.

В комнате все было по-прежнему; определенно, никто не пытался проникнуть к нему, пока он спал. Он не мог сдержать улыбки по поводу своих предосторожностей, припомнив детство, когда подобным образом пытался защититься от грабителей и домовых. Сейчас, в ярком свете дня, сказки Этель про вампиров вновь показались ему невероятными и абсурдными. Однако теперь у Эрнеста были многочисленные свидетельства странного влияния Реджинальда на других людей, и его переполняла решимость узнать правду еще до наступления ночи. Слова Этель о том, что мысль не менее реальна, чем кровь, до сих пор звучали в ушах. Если это так, он найдет доказательства интеллектуального грабежа со стороны Реджинальда и, возможно, сумеет вернуть утраченную часть самого себя, похищенную безжалостной рукой ночных видений.

Однако Эрнест ни в коем случае не мог сейчас, в нынешнем состоянии, предстать перед Реджинальдом. Ему казалось, что, столкнувшись с ним и зная о его подлинной сущности, он придет в ужас, и его будет трясти от страха. Поэтому он одевался намеренно медленно, дабы избежать встречи с хозяином. Но судьба разрушила все надежды. Этим утром Реджинальд необычно долго засиделся за чашкой кофе. Он как раз допивал последний глоток, когда Эрнест вошел в столовую. Лицо Кларка, казалось, излучало доброту и благодушие, однако юноша теперь смотрел на него другими глазами, и ему виделось в нем что-то зловещее.

– Что-то ты сегодня поздно, Эрнест, – заметил он в своей обычной небрежной манере. – Поздно вернулся или всю ночь писал стихи? И то, и другое одинаково вредно для здоровья.

Произнося все это, Реджинальд рассматривал юношу, и на его губах играла загадочная улыбка. Раньше Эрнест сравнивал ее с улыбкой Моны Лизы, но теперь обнаруживал в ней приторность лицемера и жестокость преступника.

Он не мог выносить ее, он не мог больше видеть перед собой это лицо. Ноги подкосились, на лбу выступил холодный пот, и он тяжело опустился на стул, дрожа и старательно избегая взгляда Реджинальда.

Наконец, тот поднялся из-за стола. И вновь Эрнесту показалось, что невозможно обвинить это блестящее воплощение мужественности в каких-либо недостойных и коварных поступках, в плагиате и воровстве. Сейчас Реджинальд напоминал великолепного тигра, существо, олицетворяющее силу и страсть, неукротимую и ненасытную. Однако, как знать, не используются ли все эти качества для паразитирования на других? Если подозрения

Этель правильны, то Реджинальд мог забрать у него гораздо больше, чем он, Эрнест, может предположить. Неужели его кровь, его жизнь течет в венах этого человека, окрашивая алым цветом губы, а мысли Эрнеста питают его интеллект?

XXVII

Едва Реджинальд Кларк вышел, как Эрнест вскочил со стула. Поскольку, судя по всему, этим утром квартира оставалась в его единоличном распоряжении, нельзя было упускать такой случай.

Сердце бешено колотилось в груди, когда он, немного робея, вошел в кабинет, где меньше года назад Реджинальд предложил ему свое гостеприимство. Ничто не изменилось здесь за прошедшее время, однако теперь Эрнест воспринимал эту комнату как обитель зла. Антиной, фавн, образ Христа – все было на своих местах, но теперь их соседство казалось богохульством. Шекспир и Бальзак, чьи бюсты украшали кабинет, словно осуждающе нахмурились, когда он начал просматривать бумаги Реджинальда. Случайно Эрнест задел стоявшую на письменном столе фигурку Наполеона, которая опрокинулась со стуком, гулко разнесшимся по пустой комнате. В этот момент его поразило странное, словно фамильное, сходство между Шекспиром, Бальзаком, Наполеоном – и Реджинальдом. Во всех определенно было нечто, чем отмечены избранные; те, кто способен в максимальной степени воплотить в себе страсти всего человечества. В лице Бальзака явствен-

но читалась доброта, в то время как в Наполеоне преобладала откровенная жестокость. Образ того, кто, как говорят, был самым богатым человеком на свете, также встал перед глазами Эрнеста. Возможно, это была всего лишь игра воспаленного воображения, но он готов был поклясться, что его черты тоже несут на себе печать, отмечающую обладателей разума несамостоятельного, но обладающего мощной способностью впитывать чужие мысли; такие люди, на радость или на горе остальным, предназначены для того, чтобы грабить и править. Сейчас все они казались Эрнесту чудовищами, не знающими ни справедливости, ни жалости, подчиняющимися лишь закону собственного существования, закону своего развития.

Обычное оружие бессильно против этой силы. В одиночку такие люди сильнее целых армий, их невозможно одолеть в честном единоборстве. Хитрость, притворство, ложь вполне допустимы в борьбе с ними. Вот случай, когда цель оправдывает средства, даже если речь идет о краже со взломом.

Быстрый осмотр стола не дал никаких результатов. Тогда Эрнест попытался открыть секретный ящик, о существовании которого узнал совершенно случайно. Он перепробовал несколько ключей и уже хотел отложить обыск до того времени, когда сумеет раздобыть отмычку, как вдруг замок поддался.

В ящике оказалась большая стопка рукописей. Эрнест на секунду замер и глубоко вздохнул, чтобы немного успокоиться. Потом его дрожащие пальцы начали нервно перелистывать страницы. И вот – наконец – взгляд упал на толстую рукопись, на первой странице которой было написано: «*Леонсия*. Роман».

Итак, все это правда – его сны; признание, которое Реджинальд сделал Этель. И дом, который так гостеприимно распахнул перед Эрнестом двери, оказался домом вампира!

Наконец, любопытство пересилило негодование, и он начал читать. Сначала буквы плясали перед глазами – так дрожали его руки. Однако постепенно он немного успокоился, и буквы стали складываться в слова. Эрнест ощутил радость и потрясение. Это была настоящая литература. Его литература! Он по-прежнему блестящий поэт. Он снова глубоко вздохнул. Сердце переполнилось гордостью. Вся эта история, записанная чужой рукой, каждая ее глава, была порождением его разума и вдохновения.

В романе были некоторые незначительные отличия от первоначального замысла. Искусная рука внесла некоторые штрихи, и, тем не менее, это было его произведение. Оно не принадлежало этому вору.

Кровь прилила к щекам, когда он произнес это слово; в отношении Реджинальда оно казалось почти кощунственным.

Эрнест дошел почти до последней главы, когда услыхал шаги в прихожей. Он торопливо вернул рукопись на место, запер ящик и на цыпочках вышел из комнаты.

Это был Реджинальд. Но он вернулся не один. Он с кем-то разговаривал. Голос показался Эрнесту знакомым, но слов было не разобрать. Он напряженно прислушивался и… – возможно ли это? Джек? Он не мог так быстро приехать в ответ на письмо Эрнеста. Тогда что привело его сюда? И о чем он так долго говорит с Реджинальдом; почему не спешит увидеть друга? Эрнест осторожно придвинулся поближе к двери. Теперь он расслышал слова Джека:

– Это было бы очень удобно и приятно. Однако, мне кажется, что с моей стороны было бы нехорошо претендовать на его место в этой квартире.

– Пусть это тебя не беспокоит, – спокойно ответил Реджинальд. – Мальчик сам выразил желание покинуть меня через пару недель. Думаю, он отправится в какой-нибудь санаторий. У него совсем расшатаны нервы.

– Это неудивительно после того ужасного срыва, когда вы читали свою пьесу.

– С тех пор мысль о пьесе превратилась у него в манию.

– Мне очень жаль его. Я так любил Эрнеста: возможно, даже слишком сильно. Но я всегда опасался, что он может прийти к такому концу. В последнее время из его писем было видно, что он стал крайне неуравновешенным.

– Ты сам увидишь, что он очень изменился. По сути, он уже не тот, что был раньше.

– Да, – согласился Джек, – он уже не тот Эрнест, которого я любил.

Эрнест прислонился к стене. Его лицо исказилось, словно от острой боли. Каждое услышанное слово впивалось, словно игла. Бледный и трепещущий, распятый на кресте собственных чувств рукой человека, которого любил, он чувствовал себя совершенно опустошенным. К глазам подступили слезы, но он не смог даже заплакать.

Он прокрался в свою комнату, бросился на постель и так лежал, несчастный и одинокий.

XXVIII

Ужасным было одиночество; но еще невыносимей оказалась бы для него теперь встреча с Джеком. И, в конце концов, это было правдой; между ними действительно разверзлась пропасть.

Лишь Этель могла бы принести утешение измученной душе, заполнить образовавшуюся в сердце пустоту. Он тянулся к ней, как сластолюбец стремится к наслаждению, или как уставший от невыносимых страданий человек призывает смерть.

Он бесшумно прокрался к двери, стараясь не привлекать внимания беседующих, каждое слово которых будто кинжалом пронзало его сердце. Когда он добрался до дома Этель, оказалось, что она вышла прогуляться. Слуга провел его в гостиную, он сел и стал ждать, ждать, ждать…

Эрнест вновь и вновь мысленно возвращался к услышанному разговору, и в нем росло убеждение, что его друг Джек не виноват в таком повороте событий. Очевидно, Реджинальд подчинил душу юноши своему демоническому влиянию и наметил его в качестве очередной жертвы. Этого нельзя допустить! Он, Эрнест, должен его спасти. Он предупредит друга об опасности, которая ему угрожает, даже если ему придется выставить себя безумцем; ведь Реджинальд с нечеловеческой изобретательностью уже внушил Джеку мысль, что заблуждения Эрнеста переросли в манию, и любая попытка предостеречь лишь подтвердит эту теорию. Он должен самостоятельно разобраться с Реджинальдом, этим похитителем душ, как бы это ни было опасно. Сегодня ночью он не будет спать. И если Реджинальд проникнет в его комнату, если Эрнест ощутит его зловещее присутствие, он дол-

жен будет объясниться с ним; если надо – прибегнуть к угрозам, чтобы спасти друга.

Эрнест полностью утвердился в этом намерении, когда радостный вскрик прервал его размышления – Этель вернулась с прогулки. Но ее радость сменилась беспокойством, когда она увидела, как он бледен и взволнован. Юноша рассказал ей о событиях дня – от находки своего романа в столе Реджинальда до разговора, который он невольно подслушал. Эрнест заметил, что к концу его рассказа лицо женщины прояснилось.

– Твой роман закончен? – вдруг спросила она.

– Полагаю, что да.

– Тогда ты вне опасности. Ему больше ничего от тебя не нужно. Но тебе следовало забрать роман с собой.

– Меня чуть не застали врасплох, и я лишь успел положить его на место. Завтра я попросту потребую его у Кларка.

– Не вздумай делать ничего подобного! Ведь он написан им от руки, и у тебя нет никаких законных доказательств, что он твой. Ты должен забрать его тайком. В этом случае он вряд ли осмелится открыто потребовать его назад.

– А Джек?

Она совершенно забыла о нем. Любящие женщины так эгоистичны!

– Ты должен предупредить его, – наконец, ответила она.

– Он просто рассмеется мне в лицо. Однако я должен поговорить с Реджинальдом.

– Бесполезно. В любом случае, тебе не следует делать этого до тех пор, пока ты не завладеешь рукописью. Ты лишь напрасно поставишь под угрозу наши планы.

– А после?

– После? Возможно… Однако ты не должен рисковать собой.

– Но, дорогая, – возразил Эрнест, целуя ее, – какая опасность может угрожать мне, когда я предупрежден и сохраняю присутствие духа? Он посягает на чужой разум лишь во мраке ночи, когда люди спят.

– Все равно будь осторожен.

– Буду. Собственно, я полагаю, что сейчас его уже нет в квартире. Если я отправлюсь немедленно, я успею забрать рукопись и спрятать до его возвращения.

– И все же мне страшно при мысли, что ты должен вернуться в этот дом.

– Через день-другой у тебя уже не будет поводов для беспокойства.

– Мы увидимся завтра?

– Не думаю. Я должен собрать вещи и бумаги, чтобы в любой момент быть готовым покинуть его квартиру.

– Потом…

Эрнест сжал ее руки и долго смотрел ей в глаза.

– Да, – ответила она, – может быть, все возможно…

Он собрался уходить, счастливый и полный решимости. Как он повзрослел за последние месяцы, – подумала Этель. Ее сердце учащенно забилось при мысли, что именно ее любовь так его изменила.

– Раз ты завтра не придешь, я, пожалуй, пойду вечером в оперу. Однако вернусь к полуночи. Обязательно позвони мне! Я буду чувствовать себя спокойнее, зная, что с тобой все в порядке.

– Позвоню. Все-таки в этом отношении мы, современные люди, имеем преимущество перед нашими предками: современный Пирам может

говорить с Тисбой[1], даже если множество стен отделяют их друг от друга.

– Приятное утешение. Однако будем надеяться, что наш роман закончится не так трагично, – ответила Этель, ласково играя его волосами. – Мы обязательно будем счастливы. Уже совсем скоро. Рука судьбы, чью стальную хватку мы ощутили на своей жизни, уже разжалась. Почти разжалась. Почти…

Внезапно ею снова овладел страх.

– Нет! – закричала она. – Не ходи туда! Не надо! Останься здесь, со мною! Мне страшно. Я не знаю, что со мной происходит. Я просто боюсь – за тебя.

– Но, дорогая, – возразил Эрнест, – ты не должна бояться. К тому же в глубине души ты сама не хотела бы, чтобы я покинул друга в опасности, по сути, предал его, а также оставил в руках Кларка свое лучшее произведение.

---

1 Тисба – легендарная вавилонская красавица, возлюбленная Пирама. Родители Тисбы и Пирама, враждовавшие между собой, не хотели допустить брачного союза молодой четы, и влюбленные могли при свиданиях говорить друг с другом только через трещину в стене, разделявшей владения их родителей. Однажды ночью они сговорились свидеться у шелковичного дерева; Тисба пришла на свидание первая, но, встретив льва, только что насытившегося добычей, убежала, потеряв при этом свое покрывало, которое лев растерзал и запятнал кровью. Пирам, придя на условленное место, нашел лишь окровавленные лоскутья покрывала Тисбы и, решив, что та погибла, закололся мечом. Тисба, вернувшись на место свидания, нашла труп Пирама и с горя закололась тем же мечом, от которого погиб Пирам. От их крови шелковица окрасилась в красный цвет, и с этого времени плоды ее сделались багровыми. Эта легенда рассказана Овидием в "Метаморфозах".

– С какой стати ты должен подвергать себя Бог знает какой опасности ради друга, который готов предать тебя?

– Ты забываешь, что дружба – священный дар. Если за нее требовать плату – в любой форме, – то это уже не дружба и не дар. К тому же ты сама убеждала меня, что больше мне нечего бояться Реджинальда; он уже не сможет ничего у меня отнять.

Его слова немного успокоили Этель; к ней вернулось самообладание.

Дверь за Эрнестом закрылась.

Быстрым шагом он прошел несколько кварталов, потом пошел медленнее. Слова Этель несколько поколебали его уверенность, и, вернувшись в квартиру Кларка, он не стал сразу копаться в его бумагах. И хорошо; едва он закурил, как услышал скрежет ключа в замке – Реджинальд вернулся необычно рано.

Эрнест быстро выключил верхний свет в своей комнате, оставив лишь лампу, и забаррикадировал дверь, как прошлой ночью. Затем лег в постель, однако заснуть не мог.

Наступила мертвая тишина. Даже лифт не гудел. Эрнест весь обратился в слух. Он слышал, как Реджинальд расхаживает по кабинету. Ни малейшее движение не ускользало от его внимания. Проходили часы. Пробило двенадцать, а Кларк все ходил и ходил.

Час ночи.

Звуки шагов не прекращались. В их размеренности было что-то гипнотическое. Наконец, усталость взяла свое, и Эрнест заснул.

Едва сомкнув глаза, он вновь оказался во власти ужасного ночного кошмара – или уже не кошмара. Эрнест почувствовал, как тонкие пальцы осторожно проникают по нервным каналам в сокровенные глубины его сознания…

Подсознательное ощущение опасности заставило его проснуться, и он почувствовал, как осторожные пальцы отпустили его.

Эрнест готов был поклясться, что слышит быстрые шаги в своей комнате. Его прошиб холодный пот. Он быстро включил свет.

Комната была пуста – никого постороннего, ни малейших следов чьего-либо присутствия. Баррикада у двери не потревожена. Однако страх овладел его душой.

Ничто не могло поколебать его убежденности в том, что Реджинальд Кларк был рядом с ним лишь несколько секунд назад, собирая свою ужасную жатву.

В большом зеркале над камином отразилось лицо Эрнеста – бледное, искаженное волнением. Лицо безумца.

XXIX

На следующее утро с почтой ему пришла записка от Этель – несколько строк поддержки и любви.

Да, она права, ему нельзя больше оставаться под одной крышей с Реджинальдом. Он должен лишь завладеть рукописью и, если удастся, уличить его при попытке воспользоваться своей мистической и преступной властью. Тогда Эрнест сможет диктовать свои условия и потребовать, чтобы он оставил в покое Джека в обмен на молчание.

Однако в этот день Реджинальд заперся в кабинете, видимо, поглощенный работой. Лишь стук пишущей машинки выдавал его присутствие в квартире. Так что у Эрнеста не было возможности поговорить с ним или вернуть себе рукопись «Леонсии».

Эрнест просматривал бумаги и паковал вещи, чтобы можно было съехать в любой момент. Поглощенный этим занятием, он потерял счет времени.

Когда стемнело, он не стал полностью раздеваться и прилег на кровать. Было десять часов. В двенадцать он обещал позвонить Этель. Сегодня Эрнест вообще не собирался спать. Он надеялся выяснить, действительно ли Реджинальд каким-то загадочным образом пробирался по ночам в его комнату.

Прошел час, и бдительность Эрнеста несколько ослабла. Его веки уже слипались, когда у двери послышалось какое-то движение, и китайская ваза упала на пол, с грохотом разлетевшись на кусочки.

Эрнест вскочил, его лицо исказил ужас. Он был белее простыни, на которой лежал, однако в душе чувствовал непоколебимую решимость.

Он включил свет. В комнате было пусто. И, определенно, там не было ни одного уголка, где кто-то мог бы спрятаться. Из-за двери не раздавалось ни звука.

Вдруг что-то мягкое коснулось его ноги. Он едва сдержался, чтобы не завопить. Затем все понял и рассмеялся. Влажный нос ткнулся ему в ногу, пушистый хвост обвил ее. Причиной переполоха была кошечка мальтийской породы, его любимица; видимо, он не заметил, как она зашла в комнату и осталась там. Теперь киска успокоилась и легла в ногах постели.

Присутствие живого существа несколько успокоило Эрнеста, однако силы его были на исходе.

Он смутно помнил о своем обещании позвонить Этель, но глаза закрывались сами собой. Наверно, еще час он пролежал в полудреме, как вдруг кровь застыла от ужаса у него в жилах.

Он ощутил руку Реджинальда Кларка – в этом не было никаких сомнений, – проникшую в его мозг, словно отыскивающую там что-то, чего он еще не успел похитить.

Эрнест попытался подняться, закричать, но его тело словно парализовало. Когда он, наконец, нечеловеческим усилием сумел стряхнуть оцепенение и приподняться на кровати, то увидел человеческую фигуру – мужскую, – которая исчезла в стене, отделяющей комнату Эрнеста от покоев Реджинальда.

Это явно не было галлюцинацией. Он услышал какой-то звук, словно тихо закрылась секретная дверь; потом легкие удаляющиеся шаги. Внезапная злость охватила юношу. Все смешалось в его душе: опасность, которую представлял для него этот человек, обладающий страшной, загадочной силой; любовь, которую он когда-то питал к Реджинальду; оскорбленное чувство справедливости и мысль о бесчеловечности его мучителя.

Закон разрешает пристрелить грабителя, проникшего ночью в наш дом. Так неужели мы обязаны терпеть в тысячу раз более подлые и опасные посягательства на наш разум? Неужели Реджинальд может безнаказанно пользоваться плодами интеллектуального труда других людей? Неужели он и дальше будет считаться одним из величайших писателей своего времени, воруя достижения тех, кто талантливее его? Абель, Уолкхэм, Этель, он сам, Джек… все они окажутся неотомщенными жертвы этого ненасытного чудовища?

Неужели невозможно сопротивляться этой безжалостной силе?

Нет, тысячу раз – нет!

Эрнест кинулся к стене, к тому месту, где, как он помнил, исчезла тень Реджинальда. Ощупывая

стену, он случайно нажал на секретную пружину. Бесшумно открылась потайная дверь. Вне себя от гнева, он прошел через соседнюю комнату и оказался в кабинете Кларка. Он был ярко освещен; Реджинальд, полностью одетый, сидел за столом и что-то писал.

Когда Эрнест приблизился, он поднял глаза на него; во взгляде не было ни испуга, ни удивления. Спокойно, даже величественно он сложил руки на груди. Однако глаза угрожающе блеснули – это был взгляд хищника, разглядывающего жертву.

XXX

Мужчины молча смотрели друг на друга. Потом Эрнест прошипел: «Вор!».

Реджинальд пожал плечами.

– Вампир!

– Так значит, Этель заразила тебя этими нелепыми фантазиями. Бедный мальчик. Я думаю… Я уже давно хотел тебе сказать… Я полагаю, что отныне наши пути расходятся.

– И у тебя хватает наглости говорить мне это?!

Чем больший гнев охватывал Эрнеста, тем, казалось, спокойнее становился Реджинальд.

– Я тебя не понимаю. Вынужден просить тебя покинуть мою комнату.

– Не понимаешь? Мерзавец! – выкрикнул Эрнест.

Он шагнул к письменному столу и рывком открыл секретный ящик. Пачка рукописей упала на пол. Эрнест схватил одну из них и швырнул на стол. И увидел на последних страницах исправления, которые явно были внесены совсем недавно.

Реджинальд улыбнулся.

–Ты явился, чтобы перепутать все мои рукописи?

– Твои рукописи?! Реджинальд Кларк! Ты – бесстыдный самозванец! Ты самостоятельно не написал ни строчки! Ты крадешь чужие мысли; ты идешь по жизни, рядясь в чужие одежды, украденные тобой!

Маска спала с лица Реджинальда.

- Почему украденные? – холодно ответил он, и в его голосе прозвучало раздражение. – Я впитываю. Я воспринимаю. Это наибольшее, на что может быть способен художник. Бог создает; человек воплощает. Он дает нам краски; мы их смешиваем.

– Речь не об этом. Я обвиняю тебя в том, что ты сознательно и злонамеренно вторгся в мою жизнь; я обвиняю тебя в том, что ты обокрал меня; я обвиняю тебя в том, что ты – подлый и корыстный лицемер и паразит!

– Глупый мальчишка, – холодно ответил Реджинальд. – Именно благодаря мне и через меня лучшая часть тебя сохранится в веках, подобно тому, как через рожденного в Стратфорде-на-Эйвоне проявили себя малозаметные елизаветинцы. Шекспир впитывал в себя все существенное, что имелось в обычных людях – все то ценное, что иначе было бы безвозвратно утрачено, – и придавал драгоценную огранку их мыслям и чувствам, вдохнул в них подлинную жизнь.

– Любой вор стал бы оправдываться точно так же. Но меня ты не обманешь, я тебя раскусил! Это неуемное тщеславие заставляет тебя использовать твою чудовищную власть.

– Ты ошибаешься. Мною никогда не руководил эгоизм. Личная слава мне безразлична. Взгляни

на меня! Вот я стою перед тобой… я и Гомер, и Шекспир… Я присутствую в любом великом проявлении Искусства. Но люди не всегда осознают это. Историки могут больше рассказать о каком-нибудь афинском писаке или рифмоплете елизаветинских времен. Блеск моего творчества затмевает мою собственную личность. Ну и пусть… Я исполняю миссию. Я – слуга Господа. Я – сосуд, вмещающий Хозяина!

Он выпрямился в полный рост – живое воплощение величия и власти. Чудовищная сила исходила от него. Реджинальд казался огромным электродвигателем, в котором бушуют бесчисленные токи, сотрясающие Землю на ее орбите и гонящие мириады планет сквозь бесконечность космоса…

Наверно, при иных обстоятельствах, Эрнест, как и любой другой обычный человек, дрогнул бы перед ним. Но в этот драматический момент юноша словно вырос, силы его удесятерились; в руках он почувствовал меч возмездия. Абель, Уолкхэм, Этель – все они взывали к отмщению. К тому же речь шла о судьбе Джека. Сейчас Эрнест в одиночку сражался против слепой и жестокой силы, которую в первобытные времена олицетворяли динозавры и мастодонты.

– По какому праву ты присвоил себе роль литературного мессии? Кто тебя назначил? Какая божественная сила позволила тебе распоряжаться моей судьбой и жизнями других, кого ты ограбил?

– Я несу свет человечеству. Я покоряю вершины, недоступные другим… Я указываю путь в будущее. Я разгоняю мрак прошлого. Если бы я не был столь велик, то не смог бы держать свой факел так высоко. Даже те души, которые я попираю, понимают, провожая меня последним потухшим взглядом, что они гибнут во имя будущего. Вечно

присутствуя в этом мире, я несу в себе космическую, божественную сущность… Я Гомер… Гёте… Шекспир… Я воплощение той силы, которой были наделены Александр, Цезарь, Конфуций, Христос… Никто не может противостоять мне.

Внезапное бешенство овладело Эрнестом при этом хвастливом монологе. Он должен нанести удар, сейчас или никогда! Он должен избавить человечество от этого опасного маньяка, от этого демона власти.

Эрнест легко подхватил тяжелый стул, чтобы запустить его в голову Реджинальда.

Тот стоял спокойно, с улыбкой на губах… Однако от него исходил флюиды первобытной жестокости… Тем не менее, он по-прежнему улыбался; его сверкающий взгляд впился в юношу… и вот!... рука Эрнеста дрогнула… стул упал на пол… Он попытался закричать, позвать на помощь, но ни звука не слетело с его побелевших губ… Его словно парализовало… Перед ним была… воплощенная Сила!

Проходили минуты… вечность.

Этот взгляд был по-прежнему прикован к Эрнесту.

Но это уже был не Реджинальд.

Это был мозг… один лишь мозг… огромная мыслящая машина… чудовищной сложности… ужасающей мощи.

Всего в нескольких милях от Эрнеста Этель пыталась дозвониться до него. Телефон все звонил и звонил. Но Эрнест ничего не слышал. Что-то сковало его… какая-то сила вытягивала нервы из его тела. Это было опустошение – бесстрастное и безжалостное, которому невозможно сопротивляться.

Казалось, от этой живой электрической батареи во все стороны разлетаются искры – синие,

алые, фиолетовые. Они проникали в мозг Эрнеста, в самые его глубины… Медленно… постепенно… исчезали все признали интеллекта… Сначала воля… потом – чувства… рассудок… память… даже страх. Все, что хранилось в клетках его мозга, было поглощено этой чудовищной машиной…

Появилась Принцесса с желтой вуалью, легко пронеслась через комнату и растворилась. Потом детские воспоминания… лица мальчиков, девочек… Он увидел, как ему помахала рукой умершая мать… Поцеловала его. Потом спокойные черты лица вдруг исказила агония смерти… и она тоже исчезла. Одна картина сменялась другой… Слова любви, когда-то произнесенные им… грехи, добродетели, хорошие и плохие поступки, страхи… Появилась Леонсия, и… Нет, это была Этель, она пыталась что-то сказать… предостеречь его… В отчаянии взмахнула рукой… и тоже исчезла. Бледное лицо, темные волосы… Джек! Как он изменился! Он уже во власти вампира. «Джек!», – закричал он. Друг должен ему что-то объяснить… произнести какие-то слова, которые принесут покой его душе. Эрнест видел, как тот пытается что-то сказать, но прежде чем слова слетели с его губ, образ Джека растаял. И Реджинальд… Реджинальд тоже исчез… Остался лишь мозг… огромный… пульсирующий… А потом уже не было ничего… Уничтожение Эрнеста Филдинга завершилось.

Пустым, бессмысленным взглядом обвел он комнату; потом тупо уставился на хозяина. Тот тяжело дышал и отирал пот со лба. Однако лицо его светилось молодостью, глаза сияли зловещим огнем… Он взял за руку *то*, что когда-то было Эрнестом Филдингом, и отвел *это* в его комнату.

XXXI

Едва рассвело, Этель уже спешила к дому на Риверсайд-драйв. Она так и не получила никакой весточки от Эрнеста и не смогла до него дозвониться. Беспокойство подгоняло ее. У двери она столкнулась с Джеком, который направлялся к Реджинальду Кларку.

В то же самое время *нечто*, напоминавшее Эрнеста Филдинга, появилось из дома вампира. Это было отвратительное, тупое и примитивное существо, без малейшего проблеска разума в глазах.

Чудовищная трансформация, происшедшая с ним, ужаснула Этель.

– Мистер Филдинг! – окликнула она его.

– Эрнест! – крикнул Джек, также пораженный переменой в облике друга.

Голова Эрнеста повернулась в сторону, откуда раздались эти звуки, однако в мертвом взгляде не мелькнуло даже искры узнавания. Без прошлого, без настоящего… будто слепой… что-то невнятно бормоча про себя… – полный идиот, – он, спотыкаясь, стал спускаться по ступенькам крыльца.

1907

«ДОМ ВАМПИРА»:
читатели, толкователи и критики

«Дом вампира» вышел в свет в сентябре 1907 г. Читатели и критики сразу задалась вопросом: как автор оценивает своего героя? Не вложил ли он в уста Кларка собственные мысли? Любивший дразнить пуритан, Вирек начал очередной разговор с интервьюером словами: «Вы слышали о «великом американском романе»? Ну вот, я написал его… Это нечто совершенно новое в беллетристике. Во все века были великие люди – они становились великими, впитывая труд других»[1]. «Мой роман, – утверждал он в другой беседе, – радикально изменит наши представления об основателях христианства, «Стандард ойл» и психологического романа. Он по-

Джордж Вирек.
Шарж Форнаро. 1913

1 Интервью Вирека и отзывы критики о его произведениях без указания источников цитируются по приложениям к его книгам: Roosevelt: a Study in Ambivalence. N.Y., 1919; My Flesh and Blood. A Lyric Autobiography with Indiscret Annotations. N.Y., 1931.

кажет Христа, Рокфеллера и Бальзака чудесными поглощающими силами, которые, подобно линзе, собирают рассеянные лучи из меньших источников в одно великолепное пламя, чтобы освещать путь миру».

«Мой вампир – это сверхчеловек Ницше. Он имеет право красть из чужих мозгов. Это уникальная фигура в мировой литературе и драме. Я взял индивидуум и сделал из него тип»[1]. П. Сент-Амур видит в этих словах Вирека не только оправдание Кларка, но и «эстетизированную, сознательную капитуляцию перед тоталитарной личностью», которая позже привела автора «Дома вампира» с сотрудничеству с нацистами, хотя и замечает: «было бы абсурдно утверждать, что нацизм Вирека в зрелые годы полностью и безусловно виден в его первом романе»[2]. Сент-Амур принимает за чистую монету декадентские речи автора и героев, но игнорирует то, что слова о «великом американском романе» в книге вложены в уста Этель в разговоре с Эрнестом, который делится с ней мечтой написать «главный роман своей жизни». Эрнесту приданы некоторые черты самого Вирека и подарены два его стихотворения, в то время как Кларк, на которого автор не пожалел красок, остался «головной» фигурой, навеянной литературой европейского декаданса.

Роман приняли неровно. Современные исследователи почему-то делают акцент на отрицательных отзывах. Действительно, автора упрекали в отсутствии оригинальности, излишней

---

1 Цит. по: *Paul K. Saint-Amour.* The Copywrights: Intellectual Property and the Literary Imagination. Ithaca, 2003. P. 137, 138.

2 *Saint-Amour P.K.* The Copywrights. P. 137-138, 132.

цветистости языка, переходящей в дурной вкус, невыдержанности стиля. «Жаль, что никакой вампир не украл идею Вирека до того, как он ее испортил», – суммировал сан-францисский журнал «Argonaut»[1]. Указания на зависимость «Дома вампира» от новелл Эдгара По, «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда» и «Портрета Дориана Грея» только льстили молодому писателю. На дружественных страницах сент-луисского журнала «Mirror» говорилось, что со времени книги Уайльда «не появлялось столь таинственного и умного романа». Майкл Монахэн, которого Вирек позже включил в пятерку лучших американских критиков, заявил, что «стиль неизбежно выдает в нем поэта». Анонимный рецензент «New York Times», назвав стиль книги «невозможным», отметил, что она «от первого слова до последнего выдержана на высшем уровне трагических эмоций»[2]. «В своем первом романе Джордж Вирек, удививший мир как поэт, еще больше удивляет как рассказчик», – отметила «Los Angeles Times», а «Salt Lake City Tribune» назвала его «новой сенсацией в литературе». Филадельфийский литератор Уильям Уотс констатировал, что если Вирек «начинал как вундеркинд, то теперь он вырос в настоящего и сформировавшегося художника».

Самую высокую оценку книге дал английский поэт и критик Артур Саймонс, символист и пропагандист символизма, писавший автору 13 октября 1907 г.: «Идея оригинальна, форма искусна, финал оправдывает всё развитие событий. С вашей

1 Цит. по: *Saint-Amour P.K.* The Copywrights. P. 256.

2 New York Times. 1907, 05.10. В том же номере помещена другая анонимная рецензия на роман под красноречивым заглавием «Как не надо писать по-английски».

идеей я согласен, в метафорическом смысле и не только. <…> Из символа вы сделали действительно впечатляющую историю. Она наводит на мысль об Уайльде, но Уайльд испортил бы ее украшательством и смазал бы финал. Здесь есть сила, и эта сила заставляет дочитать до конца»[1]. Вирек не возражал, когда его называли «первосвященником культа Оскара» и «лучшим учеником Уайльда в Америке». Даже если говорившие вкладывали в это негативный смысл…

Содержание «Дома вампира» понравилось не всем, но не вызвало отторжения. Газета «Buffalo Courier» назвала его «непривлекательной, но великолепной историей». По мнению «Pittsburgh Index», «книга производит зловещее впечатление, и тень «вампира» еще долго преследует вас после того, как дочитаны последние слова». Обозреватель «Atlanta Constitution» заметил, что «Дом вампира» не отпускает читателя, добавив: «Слишком сильно для легкого чтения на ночь, но это – похвала». Рецензент портлендской «Oregonian» развил аналогию: «Читатель тянется к «Дому вампира» как магнит к металлу, книга засасывает его, как паук – муху». «Minneapolis Tribune» вступилась за автора: «Это не патологическая история, как о ней говорят, потому что за ней лежит идея, которая слишком велика для патологии».

В 1909 г. «Дом вампира» вышел по-немецки в авторской версии. На исторической родине автора он не вызвал заметного резонанса, хотя берлинская газета «Lokalanzeiger» – известная тем, что ее читал кайзер, – усмотрела в стиле и теме романа «культурную и историческую ценность,

---

1 *Arthur Symons.* Selected Letters, 1880-1935. Iowa City, 1989. P.190.

которая далеко превосходит преходящие интересы дня». Тот же рецензент сделал неожиданное наблюдение: «Этот вампир может быть понят только на американской почве, с ее мистическими и символическими течениями». Гамбургская «Nachrichten» назвала роман «самой подходящей книгой для нас – детей века, столь сведущего в четвертом измерении, что привидения стали для нас чем-то вроде слуг. Мысль о том, что гений – всего лишь воплощение интеллектуальных ценностей своей эпохи, четко выражающий то, что тайно работает в сознании всех, может быть фантастической, но заслуживает серьезного осмысления и рассмотрения». Вирек не увлекался оккультизмом, видя в нем скорее художественный прием, нежели ключ к «тайнам мира». Однако именно в эти годы он подружился с поэтессой и теософкой Эльзой Баркер, получившей известность благодаря «Письмам мертвого человека», в основе которых, по ее утверждению, лежало «автоматическое письмо».

Новая волна интереса в «Дому вампира» в 1990-е годы в США связана с вниманием к гей-литературе и отысканием скрытых гомосексуальных мотивов в прозе и поэзии прошлого, где они не могли быть заявлены открыто. В этом особенно преуспел Дж. Гиффорд, отметивший, что «место Джорджа Вирека в истории гей-литературы до сих пор не изучено»[1]. Исследователи уже обращали внимание на связь мотивов вампиризма и гомосексуализма в литературе конца XIX и начала XX

1 *James Gifford.* Dayneford's Library: American Homosexual Writing, 1900-1913. Amherst, 1995. P. 87.

вв.[1]. Пример такой связи дает творчество автора, с которым Вирек не мог быть знаком, хотя они писали в одной время, – русского поэта и прозаика Леонида Лучинина[2]:

Я хочу Вампиром быть,
К телу сонному приникнуть,
Замедленно, тихо никнуть,
Все испить.
Я хочу огонь великий
В душу сонную вложить,
Истомить, заворожить,
Страстью дикой.

Герой романа Лучинина «Нити жемчужные» (1915) князь Михаил Никитич Олышев напоминает Кларка, но его сексуальная ориентация не вызывает сомнений: «Человек за сорок, высокий, гибкий, с точеным, породистым лицом, интересный тем огнем жизни и талантливости, который искрился всюду, к чему только ни прикасался этот изящный эстет, кончивший университет в Гейдельберге, удачно служивший по министерству иностранных дел, но бросивший блистательно налаживающуюся карьеру ради безумной любви к венецианскому маркизу, чтобы, повинуясь капризной прихоти красавца Джакино, уехать с ним в кругосветное путешествие, откуда вернулся через три года истерзанный, разбитый и брошенный

1 *Richard Dyer.* Children of the Night: Vampirism as Homosexuality, Homosexuality as Vampirism // Sweet Dreams: Sexuality, Gender and Popular Fiction. Ed. Susannah Radstone. London, 1988. P. 47-72; *Nina Auerbach.* Our Vampires, Ourselves. Chicago, 1995 (о Вирeке: P. 102-106, 109-110); *Gifford J.* Dayneford's Library. P. 87-97.

2 На этого автора мне указал А.В. Бурлешин.

вероломным мальчишкой, убежавшим от него с кафешантанной танцовщицей мисс Эллой Радвей, в Сингапур, где та гастролировала в какомто кабаке. После длительного затягивания раны, князь отдался науке, литературе и искусствам, и всё, что он делал, было согрето истинным вдохновением. Он поразительно мягко и мечтательно писал пейзажи, улавливая необычайные тона и давая редкий, оригинальный колорит, его лекции по философии оккультизма сопровождались овациями не только в России и Западной Европе, но имели колоссальный успех в Соединенных Штатах, где помимо эрудиции оценили его как выдающегося оратора; он был прекрасным драматическим актером, выступая на великосветских и благотворительных спектаклях, а его чеканный стих и яркость переживания сделали ему литературное имя»[1].

Упоминание Соединенных Штатов наводит на мысль о знакомстве героя с Кларком или даже с самим Виреком. Тем более, в стихах Лучинина – точнее, его героев – фигурируют «вирековские» сюжеты и персонажи, вроде Адриана и Антиноя, которые для современных истолкователей являются несомненными «маркерами» инакочувствия:

…И был прекрасен он, как утра
Животворящая заря,
Что в нежной дымке перламутра
Встает, рубинами горя,
Как Праксителя изваянье,
Как слезы первого признанья,
Как даль равнины океана

1 Цит. по: *Трифонов Г.* Нити жемчужныя // Квир. 2005. № 11; http://www.kvir.ru/28_38.html

С ее безбрежною волной,
Как ты, любимец Адриана,
Богоподобный Антиной!

«Дом вампира» также привлек внимание специалистов по авторскому праву как показатель размытости границ этого права и как описание одной из самых причудливых и в то же время труднодоказуемых форм плагиата[1]. Во второй половине 1900-х годов пресса оживленно обсуждала эти проблемы в связи с появлением новых категорий авторских прав, связанных с кинофильмами, граммофонными записями и музыкальными автоматами. Одни обвиняли Вирека в апологии плагиата, другие ссылались на роман как на доказательство невозможности облагать авторским правом идеи и замыслы, хотя Кларк воровал не только их, но уже готовые, хоть и не записанные тексты. Кульминацией стало обвинение в плагиате самого Джорджа Сильвестра, когда он вместе с Эдгаром Аланом Вульфом переделал роман в пьесу, поставленную в конце 1908 г. театром Шуберта в Нью-Йорке и имевшую шумный, хотя и недолгий успех. «Считая Чикаго и Сент-Луис, она выдержала сотню представлений», – утверждал Вирек, добавив: «Мой соавтор придал ей некоторые отчетливо человеческие черты, отсутствовавшие в романе»[2].

И тут разразился скандал. Канадский писатель Артур Стрингер заявил, что Вирек и Вульф похи-

1 *Saint-Amour P.K.* The Copywrights. P. 131-150. Цитаты о скандале вокруг «Вампира» взяты из этого издания без дополнительных ссылок.

2 *George Sylvester Viereck.* The Candle and the Flame. N.Y., 1912. P. 119.

тили идею его пьесы «Вампир», написанной им на основе своего романа «Серебряный мак» (1903), который первоначально назывался «Желтый вампир». Вирек ответил: «Мне очень жаль, что обвинение неверно; будучи верным, оно стало бы решающим доказательством правоты моей теории о поглощении мыслей. Даже если бы я заимствовал идеи из произведений худшего качества, я все равно чувствовал бы себя вправе так поступать, но, к сожалению, я не совершил ничего подобного. <…> Я оказался в странном положении написавшего о человеке-вампире и одновременно обвиненного в таком вампиризме». Затем он пригрозил Стрингеру иском в сто тысяч долларов за моральный ущерб. Ответчик заметил: «Пьесе более всего нужна хорошая реклама, и я думаю, что иск как раз создаст ее». Драматург Морис Лайонс заявил, что передал театру Шуберта пьесу с таким же названием, которая была отвергнута, и вознамерился подать в суд на театр. Некая японская актриса «мадам Фудзико» провозгласила себя обладателем прав на названия «Вампир», «Кот-вампир» и «Кот-вампир из Нобисимы» и утверждала, что раньше Вирека и Вульфа передала все в тот же театр заявку на пьесу о вампире, переделанную из японской легенды. Театр отверг все претензии, но предпочел снять пьесу с репертуара. До суда дело не дошло, хотя газетная шумиха, видимо, помешала постановкам «Вампира» в Германии, Венгрии и Италии, о которых Вирек сообщил репортерам в канун Рождества 1908 г.[1].

В 1912 г. «Дом вампира» вошел в пятитомное собрание сочинений Вирека (допечатка с готового набора), но дополнительного резонанса не вы-

1 New York Times. 1908, 24.12.

звал. В следующий раз роман увидел свет только в 1976 г., через 14 лет после смерти автора, в американском издательстве «Arno Press».

Василий Молодяков

ОСКАР УАЙЛЬД – ЖИВ ИЛИ МЕРТВ?

Ходят слухи (едва осмеливаюсь повторить – настолько они поразительны), что автор «De profundis» не только не умер, но жив и живет то ли отшельником в лоне приемлющей всех Церкви, то ли, по другой версии, находится сейчас в Нью-Йорке. Не могу поручиться за достоверность сказанного. Могу лишь рассказать, как услышал об этом и почему считаю услышанное большим, нежели порождение фантазии. Знаю, в моем рассказе есть привкус мелодрамы, поэтому многие усомнятся – усомнятся не ведающие старой истины о том, что правда причудливее вымысла и что, копируя порой искусство, она часто превосходит его.

Это случилось во время антракта в одном из наших лучших театров. Разговор как-то перешел на Уайльда. Очаровательная и умная женщина, хорошо известная в кругах клуба «Sunrise», сказала мне: «Вы не слышали… сведущие люди шепчутся… что Оскар Уайльд не умер… что его приютили монахи в испанском монастыре… что он умер только для мира… но, – она приложила палец к губам, – об это лишь перешептываются».

Я онемел. Музыка показалась звучащей где-то далеко-далеко… Актеры мелькали перед глазами подобно теням.

Разговор произошел три месяца назад. Недавно я получил новое подтверждение этому слуху (поскольку именно так его надлежит называть), которое просто повергло меня в трепет. Немецкий переводчик «Саломеи»[1] попросил достать для него экземпляр ранней пьесы Уайльда «Герцогиня Падуанская», которую, как я выяснил, даже ставили в Нью-Йорке, но почему-то невозможно было отыскать обычным путем.

Я отправился в известный книжный магазин, где раньше видел в продаже пачку писем несчастного поэта к его издателю Смизерсу[2]. Один фрагмент оттуда особенно врезался мне в память: «Вы очень жестко напомнили мне о потере сил и положения… Но это математическая задача, а я никогда не умел решать их. Вот с романтическими задачами у меня всё получалось – даже слишком хорошо». Вспомнив об этих письмах, я решил, что именно там можно получить необходимые сведения. Заказав несколько книг и попросив достать ту, которую упомянул выше, я разговорился с одним из служащих, зная его как искреннего и умного человека. Не знаю, как так получилось, – видимо, по какому-то внезапному капризу, – но я прямо сказал: «Говорят, что Уайльд вовсе не

---

1 Ядвига Лахман (1865–1918), поэтесса, переводчик произведений Уайльда, По, Бальзака.

2 Леонард Смизерс (1861–1907), один из основных издателей декадентской литературы в Англии в 1890-е годы; выпустил первое издание «Баллады Редингской тюрьмы».

умер». Юноша с интересом поглядел на меня, а затем проговорил так, как будто мы оба посвящены в великую тайну:

– Я знаю, потому что видел его всего две недели назад.

– Невероятно. Но где?

– Здесь, в Нью-Йорке.

– На улице?

– Нет, не на улице.

– Вы пытались заговорить с ним?

– Да, мы проговорили минут десять. Я никогда не встречал такого блестящего собеседника, такого искрящегося остроумия.

– Но вы уверены, что это именно он?

– Это не мог быть кто-то другой. Впрочем, я не задавал вопросов…

Любопытство показалось ему подозрительным. «Вижу, вы хотите разузнать об этом», – и больше из него было не вытянуть ни слова. Похоже, он пожалел, что позволил себе проболтаться.

Проверить услышанное мне не удалось. Сказанное ниже – не доказательство, но лишь предположение. Читавшие «De profundis» помнят в этом замечательном признании – уступающем, быть может, только «Балладе Редингской тюрьмы» – слова о том, что по освобождении из тюрьмы Уайльд намеревался написать нечто, что полностью оправдало бы его самого и его художническую натуру.

Люди никогда не простят живого, но, может, они простят мертвого? Если бы он вернулся теперь, когда им восхищается весь мир, разве не простили бы восставшего из мертвых поэта, уже пережившего одну смерть за свои грехи? Приди он сейчас, его встретят дрожь и трепет, возможно, негодование, но совсем не так, как в приснопа-

мятные дни, когда ему, изгою, пришлось навеки покинуть Англию. «Веер леди Уиндермир» ставят и у нас, и в Англии. Тюремная исповедь произвела сильное и глубокое впечатление, и ее автор теперь знаменит во всем мире, а не только печально известен, как раньше.

Интересно другое. Любой следящий за славой Уайльда на континенте – особенно в Германии, где он сейчас, без преувеличения, герой дня – мог заметить, что бум начался и нарастает так, как будто за ним кто-то стоит и умело направляет его. Появились переводы «Портрета Дориана Грея», «Баллады Редингской тюрьмы» и некоторых эссе. Вышла книга Шерарда[1] «История несчастливой дружбы», которая, правда, больше говорит о Шерарде, чем об Уайльде. «Саломея», мрачная и утонченная трагедия, прошла на сотнях сцен Германии. За ней последовали «Идеальный муж», «Веер леди Уиндермир», «Как важно быть серьезным». Не найти разве что те произведения, которые сам автор не признавал в зрелые годы, вроде «Герцогини Падуанской». Наконец, «De profundis» увидела свет в берлинском «Neue Rundschau» раньше, чем у нас. По мнению переводчика, время для обнародования в Англии этого исключительного человеческого документа еще не настало.

Поступки людей, искренне принявших сторону Уайльда, вполне понятны. Немецкая публикация – пробный шар. Разве она не наводит на мысль, что если в этой машине есть бог, то он тайно готовится вернуться в Англию, увенчанный лаврами на континенте?

---

1 Роберт Шерард (1861–1943), писатель и журналист, первый биограф Уайльда.

Следует упомянуть еще одно обстоятельство, возможно, пустяковое само по себе, но являющееся важным звеном в цепи доказательств. В немецком переводе тюремной исповеди есть фраза, которую я увидел процитированной в статье «Раскаяние Оскара Уайльда»[1] и которая почему-то опущена в английском издании. Перевожу дословно: «[Я вернусь] подобно призраку, как говорят французы, с посеревшим лицом, искаженным от боли. Мертвецы, встающие из могил, ужасны, но куда ужаснее живые, возвращающиеся из могил». Почему эти слова пропущены? В них нет ничего оскорбительного для англосаксов. Сказанные мощно, убедительно, прекрасно, они могли быть исключены сознательно и лишь по одной причине – а именно, по личной просьбе автора.

Возникает вопрос: как это возможно? Известно, что французским языком Уайльд владел великолепно. Можно сказать, как родным, о чем свидетельствует «Саломея», написанная по-французски для Сары Бернар. Он мог отпустить бороду и поселиться в маленьком городке на юге Франции или, как еще говорят, в испанском монастыре, без риска быть узнанным, точнее, с желанием остаться неузнанным, и провести остаток жизни молчаливым наблюдателем. Конечно, у него должны быть соучастники, но мы знаем, что на похоронах присутствовала лишь горстка друзей. Семья не принимала в них никакого участия. Вполне возможно, что под плитой, на которой лорд Альфред Дуглас – единственный друг несчастного поэта, никогда не бросавший его, – начертал «После слов моих уже не рассуждали; речь моя капала на

1 Эту статью не удалось идентифицировать.

них»[1], – что под этой плитой покоится безвестный бродяга или честный буржуа, не помышлявший о последнем упокоении в могиле поэта.

Наконец, еще одно доказательство, которое мало значит для суда, но мне кажется важнее всего, о чем говорилось ранее, поскольку оно связано с психологией Уайльда. Разве этот блестящий любитель парадоксов не способен превратить в парадокс самое жизнь и смерть и, по слову греческого поэта, «быть и не быть, не будучи сущим»? Разве всё неожиданное и сенсационное не есть та стихия, в которой он любил двигаться в жизни и в искусстве? И разве не будет соответствовать его характеру то, что он до самого конца принимал позу Христа (возможно, кощунственно), особенно в последней книге «De profundis», а теперь отринет надгробный камень и восстанет из мертвых?

(Перевод Василия Молодякова)

Источник: Is Oscar Wilde Living or Dead? // Critic and Literary World. Vol. 47. № 1 (July 1905). Ранее на немецком языке: Oscar Wilde Redivivus // Berliner Tageblatt. 1905. 15.05. В 1913 г. пущенный Вирекомслух вновь обсуждался в печати: New York Times. 1913, 09.11.

1 Цитата из Книги Иова (29:22).

ЛЮБОВЬ, КОТОРАЯ НЕ СМЕЕТ НАЗВАТЬ СВОЕГО ИМЕНИ

Оскара Уайльда сложно представить в качестве «отца семейства». Тем не менее, он был любящим отцом и заботливым мужем. Он возился и играл со своими детьми, как любой папаша из обычной буржуазной семьи. Когда после скандала, шокировавшего всю Англию, у него отобрали детей, сердце его было разбито. Всё это мы знаем от его сына Вивиана Холланда[1], единственного, кто еще жив. В автобиографии «Сын Оскара Уайльда», опубликованной к столетию со дня рождения отца, Вивиан, наконец, говорит от своего имени и от имени умершего поэта. Он прекрасно осознает тот факт, что британское лицемерие перекладывает на него грехи отца. Однако в статусе сына Оскара Уайльда были и некоторые положительные стороны. Хотя семье Уайльда пришлось эмигрировать под давлением варварской жестокости соотечественников, она, тем не менее, кое-что выиграла, как в общественном, так и в материальном плане, от родственных отношений с автором «De Profundis» и «Баллады Редингской тюрьмы».

---

1 Вивиан Холланд (1886–1967), младший сын Уайльда, писатель, переводчик, мемуарист.

Где бы Вивиан ни оказывался, кто-нибудь вроде княгини Монако Алисы, Маргарет Брукс, или Ады Леверсон[1], которую Уайльд называл «золотым Сфинксом», старался облегчить жизнь несчастного юноши. Он, несомненно, не был бы допущен в компанию «небожителей» и «полу-небожителей» и не смог бы водить знакомство с такими людьми, как Алджернон Чарльз Суинберн, Генри Джеймс, Герберт Джордж Уэллс, Сомерсет Моэм, Роланд Фирбэнк[2], Уильям Ротенстайн[3], Э. В. Лукас[4] и многие другие, если бы не был сыном Оскара Уайльда. Именно известность отца обеспечила широкую читательскую аудиторию книге сына. Более того, преданный друг и душеприказчик Уайльда Роберт Росс[5], который также не избег злословия и клеветы в свой адрес, проследил за тем, чтобы Вивиан получил свою долю дохода от произведений отца. Это стало возможным лишь после того, как Росс смог защитить драгоценное литературное наследие от злонамеренных управляющих, назначенных британскими властями для проведения процедуры банкротства Уайльда.

В 1884 г. Уайльд женился на Констанс Мэри Ллойд, к большому неудовольствию ее ограниченной пуританской семьи. Спустя 11 лет скандал,

---

1 Ада Леверсон (1862–1933), английская писательница.

2 Роланд Фирбенк (1886–1926), английский писатель, творчество которого отмечено влиянием Уайльда.

3 Сэр Уильям Ротенстайн (1872–1945), английский художник, художественный критик, мемуарист.

4 Эдвард Верол Лукас (1868–1938), английский прозаик и эссеист.

5 Роберт (Робби) Болдуин Росс (1869–1918), английский журналист и критик, друг и литературный душеприказчик Уайльда.

спровоцированный зловещим маркизом Куинсберри, заставил жену Уайльда эмигрировать вместе с детьми. Чтобы избежать унижения и оскорблений, они путешествовали под вымышленным именем. Под влиянием родственников они официально отказались от фамилии «Уайльд». Так Вивиан Уайльд стал Вивианом Холландом. Аналогичным образом сам Оскар Уайльд путешествовал под вымышленным именем «Себастьян Мельмот», когда после освобождения из тюрьмы в 1897 г. нашел прибежище во Франции. Однако никакие вымышленные имена не могли защитить Уайльда и его семью от злобных сплетен и любопытных глаз. Еще до того, как Вивиану исполнился 21 год, его личность была раскрыта. Не лучше обстояло дело с «Себастьяном Мельмотом». Между тем семья так никогда и не воссоединилась. Уайльда держали в неведении относительно местопребывания его детей.

Когда в начале скитаний случайно выяснилось настоящее имя Констанс Холланд, владелец швейцарского отеля вежливо попросил ее покинуть заведение. К счастью, Констанс с детьми смогли найти прибежище у друга, который восхищался гением Оскара Уайльда. Сам изгнанный поэт подвергался унижениям и оскорблениям, особенно со стороны американцев и англичан. Даже приютившие его французы были не слишком гостеприимны. Однако и в самые черные дни друзья не покинули Уайльда. Реджинальд Тёрнер[1], Роберт Росс, Фрэнк Гаррис[2] и лорд Альфред Дуглас не оставили

1 Реджинальд (Реджи) Тёрнер (1869–1938), английский писатель, друг Уайльда.

2 Фрэнк Гаррис (1856–1931), английский писатель и журналист, близкий знакомый и биограф Уайльда.

«Себастьяна Мельмота». Разрыв между Уайльдом и Дугласом произошел уже после смерти Оскара. Это была, так сказать, посмертная ссора.

Попытки скрыть свое прошлое оставили глубокий шрам в душе и жизни детей Уайльда. Сирил, старший из сыновей, лишь случайно узнал правду о судьбе отца. Он скрыл страшное откровение от младшего брата, но знание, червем грызшее сердце, пагубно повлияло на всю его жизнь. Он занялся спортом, чтобы доказать, что не является «изнеженным эстетом». Затем молодой человек вступил в британскую армию. Военно-морской флот отверг его, оказавшись слишком разборчивым и привередливым, чтобы принять сына Оскара Уайльда. Сирил служил Империи в Индии и везде, где необходимо. Первая мировая война, в ходе которой он получил четыре отличия за храбрость, предоставила ему возможность доказать свое мужество и характер. Некоторые утверждают, что он намеренно искал смерти на поле боя, чтобы искупить моральные слабости отца. Как бы то ни было, он был убит выстрелом снайпера.

Вивиану сказали, что отец «умер». Ему было восемь или девять лет, когда Уайльда приговорили к каторжным работам. Возможно, он подозревал, что вокруг него происходит нечто необычное. Наверняка, он был озадачен, когда его заставили срезать бирки с его именем с одежды и белья. Вивиан не осознавал, что происходит на самом деле. Он так и не узнал правды, пока ему не исполнилось 18 лет. Однако «игра в прятки», в которой ему пришлось участвовать, изменила юную душу. Рана до сих пор не зажила окончательно. Сегодня весь мир признает гениальность покойного поэта, и даже Англия, пусть с опозданием, повесила мемориальную доску на дом № 32 по Тайт-стрит в Лондоне, где Уайльд написал свои самые знаменитые пьесы.

«Всякий раз, когда я хотел проявить себя, – признается Холланд, – я видел, что над моим происхождением насмехаются, и чувствовал, как меня окатывают презрением.

Отец постоянно маячил, словно призрак, за моей спиной. В то же время в глубине души меня терзало ощущение, точнее, вопрос: что люди подумают, если узнают правду обо мне? Отвергнут меня? Или проявят сочувствие? Это была вечная тайна, заключенная в моем мозгу; я чувствовал, что не могу ни с кем ей поделиться, и, как я полагал тогда, буду вынужден унести ее с собой в могилу…

Семья никогда не представляла всю глубину обмана, в котором мне приходилось участвовать; они, несомненно, ужаснулись бы той паутине лжи, которую мне приходилось плести в поддержку этого обмана. Полагаю, все учителя знали, кто я такой; принципалу колледжа это, несомненно, было известно. Несмотря на то, что столько людей знали секрет, считалось, что я должен оставаться в неведении, и это ставило меня в очень неловкое положение».

Основная вина за разбитую жизнь Вивиана определенно лежит на семье его матери. Они отправляли его в различные школы за границей и настояли на том, чтобы разлучить братьев, опасаясь, что, оказавшись вместе, мальчики начнут «болтать». Представители британского среднего класса с подозрением смотрели на Уайльда даже в ту пору, когда весь Лондон был у его ног. Его падение, казалось, подтверждало обоснованность их ханжеской антипатии. Их ядовитая ненависть к Уайльду являлась данью, которую посредственность платит гению.

Если бы не семья Ллойд, Констанс, возможно, присоединилась бы к мужу после его освобождения. Они не позволили Уайльду, который очень любил своих детей, узнать, где те находятся. Они отказались даже принять письмо от Уайльда, чтобы передать его детям, когда те достигнут совершеннолетия. Любое такое письмо, предупредили они несчастного отца, будет «уничтожено».

Невзирая на возражения семьи, Констанс неоднократно посещала Оскара в тюрьме. Когда умерла эксцентричная мать Уайльда Сперанса, миссис Уайльд взяла на себя обязанность сообщить об этом мужу. После освобождения она выделила ему небольшое содержание из собственного скромного состояния. Незадолго до смерти, будучи парализованной в результате несчастного случая, она с трудом, превозмогая боль, собственной рукой написала записку Вивиану: «Постарайся не чувствовать ожесточения против отца; помни, что он твой отец, и он любит тебя. Причиной всех его бед является ненависть сына [лорда Альфреда Дугласа] к его отцу [маркизу Куинсберри], и что бы он ни сделал, он жестоко пострадал за это». «Судя по содержанию ее последнего письма, – отмечает Вивиан, – в глубине души она знала, что ее несчастья скоро закончатся».

Судья Альфред Уиллс[1] – кстати, живший на одной улице с семьей Уайльд – приговорил выдающегося поэта к самой суровой каре, какая была возможна по закону. При этом он назвал два года тяжелого труда «недостаточным» наказанием. Такое отношение, выраженное столь откровенно, свидетельствует, что судья был человеком жестоким и недалеким. В «Предисловии» издатели Хол-

1 Сэр Альфред Уиллс (1828–1912).

ланда приводят отрывок из книги Бориса Бразоля[1] «Оскар Уайльд: человек, художник и мученик», где автор предполагает, какой приговор вынес бы судья Уиллс выдающимся философам, государственным деятелям, поэтам и военачальникам, которые «отклонялись» от «нормы».

Бразоль приводит некоторые из наиболее прославленных имен в истории человечества: Парменид, Зенон, Солон, Сократ, Платон, Аристотель, Эвклид, Аристид[2], Эпаминонд[3], Алкивиад, Феокрит, Пиндар, Фукидид, Анакреон, Бион[4], Вергилий, Овидий, Гораций, Хафиз, Верлен. К этому созвездию он добавляет Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бенвенуто Челлини, Аристофана, Эсхила, Эврипида, Софокла. «Все эти люди, – пишет Бразоль, – делали то же самое, за что накануне XX века Оскар Уайльд был отправлен в Редингскую тюрьму».

Не удовлетворившись этим, Бразоль заносит на своеобразную доску почета наиболее оригинального, если не величайшего, американского поэта Уолта Уитмена, замечательного сказочника

---

1 Борис Львович Бразоль (1885–1963), русский юрист, писатель, общественный деятель; во время Первой мировой войны командирован в США, где остался после революции; автор книги об Уайльде.

2 Аристид (ок. 540– ок. 467 до н. э.), афинский государственный деятель, полководец периода греко-персидских войн 500–499 до н. э.

3 Эпаминонд (ок. 418–362 до н.э.), древнегреческий полководец и политический деятель, глава Фив и Беотийского союза.

4 Бион, древнегреческий идиллический поэт II или III века до н. э.

Ганса Христиана Андерсена, французского писателя Ларошфуко, немецкого естествоиспытателя Александра Гумбольдта, величайшего танцора современности Нижинского и в довершении всего – блаженного Августина. Он мог бы также упомянуть Марло, Шекспира, Юлия Цезаря. Большинство, если не все выдающиеся личности находили извилистые пути в сексе. Однако было бы ошибкой называть их «гомосексуалистами». Некоторые, несомненно, являлись членами «Гоминтерна». Многие, как и Оскар Уайльд, были бисексуалами. Женщины не были ему безразличны. Он писал любовные стихи знаменитой актрисе и, в конце концов, был отцом Вивиана и Сирила. Он не был томным декадентом, с неизменным цветком подсолнечника или зеленой гвоздикой в петлице; он мог боксировать и плавать, будучи достойным своих предков. Кстати, Вивиан женат, и является отцом Мерлина[1], крепкого и здорового мальчика. Книгу Холланд посвятил своей жене.

Вивиан был воспитан иезуитами. В знак протеста против семьи матери он обратился к Риму. Сам Уайльд скончался в лоне Церкви. Возможно, как утверждает один его школьный товарищ, предоставивший свои воспоминания для книги, «Уайльдом всегда управлял минутный каприз». Однако его обращение не было «капризом». На Уайльда сильно повлияло Оксфордское движение[2], что видно из писем, приведенных в книге.

---

1 Мерлин Холланд (р. 1946), биограф Уайльда, журналист и писатель.

2 Оксфордское движение выступало за возврат к католицизму, но без слияния с римско-католической церковью.

Его всегда завораживали церковные ритуалы, и он, фигурально выражаясь, сидел у ног кардинала Ньюмена[1].

Религиозные взгляды Уайльда нашли художественное воплощение в его стихотворениях и в «De Profundis». Вивиан открыл для себя этот замечательный документ, будучи уже молодым человеком. «Баллада Редингской тюрьмы», шедевр Уайльда, была опубликована в 1898 г. Вивиану она попалась на глаза лишь через семь лет после того, как завоевала весь мир. Миссис Уайльд, возможно, вообще никогда ее не видела. «Потому что, – замечает Вивиан, – заговор молчания вокруг моего отца был очень хорошо организован, и я сомневаюсь, что кто-либо привлек бы ее внимание к ней [балладе]».

Когда один добрый иезуит сообщил Вивиану о смерти отца в 1900 г., мальчик был потрясен, так как считал, что того давно нет в живых. Ему пришлось сочинить фантастическую историю, чтобы объяснить школьным товарищам эту вторую смерть. С мальчишеской гордостью Вивиан носил в школе траурную повязку. Однако, когда он попал к дедушке с бабушкой, те заставили снять ее.

Уайльд как-то сказал: «Сначала дети любят своих родителей; взрослея, они начинают судить их; иногда они их прощают». Вивиан – почти простил.

«Я не пытаюсь защитить поведение отца, однако считаю, что назначенное ему наказание было неоправданно суровым. И я говорю не только о тюремном заключении; я говорю о фактическом запрете всех его произведений, остракизме и

---

1 Джон Генри Ньюмен (1801–1890), английский церковный деятель и философ, в 1846 г. принял католичество, кардинал с 1879 г.

оскорблениях, которые ему пришлось вынести за немногие оставшиеся годы. Сегодня наихудшие черты викторианского лицемерия исчезли, и моего отца не затравили бы до смерти, как это произошло 50 лет назад. Под самодовольной маской того века таилось лицемерие, и люди, которые громче всех осуждали отца, зачастую вели жизнь, которую менее всего можно считать образцовой. Ничто так не вызывает негодования у грешника, как грехи иного порядка со стороны другого человека, за исключением, вероятно, аналогичных грехов».

Оскар и Бози. Амбивалентные любовники

Доживи Оскар Уайльд до наших дней, сейчас ему исполнилось бы 100 лет. Гиацинт Уайльда, чья «сотканная из тонкого золота душа странствует между страстью и поэзией», лорд Альфред Дуглас умер почти десятилетие назад. Настало время, когда можно открыто поговорить об этих двух людях и их романе, который вдохновлял их и разрушал их. Это был великий роман, опороченный светом и запятнанный бурными ссорами между двумя друзьями. Будучи эмоционально неустойчивыми людьми, они то любили, то ненавидели друг друга. Однако, в конечном итоге, побеждала любовь. Психоанализ дает нам ключ к чередованию вспышек любви и припадков ненависти, характерному для их дружбы. Фрейд изобрел магический термин «амбивалентность». Он учит, что любовь и ненависть являются взаимозаменяемыми, равнозначными понятиями. За любовью, которую один человек испытывает к другому, почти всег-

да скрывается ее противоположность – жестокая ненависть, которая может внезапно вспыхнуть. Аналогичным образом, ненависть является оборотной стороной медали; другой стороной может быть любовь.

Я никогда не встречался с Оскаром Уайльдом. Мне было всего 15 лет, когда он умер. Но я на всю жизнь был очарован его остроумием и поэзией. В 1907 г., опубликовав свой первый сборник на английском языке «Ниневия и другие стихотворения», я шокировал интервьюера добропорядочной «Нью-Йорк Таймс», когда заявил: «Три человека вызывают мое наибольшее восхищение: Христос, Наполеон и Оскар Уайльд». Каждый из них, как я считал, являлся наивысшим образцом и жертвой идеала в сфере Этики, Энергии и Эстетики. Пятью годами ранее, в нежном 17-летнем возрасте, я впервые встретил большого друга Уайльда, лорда Альфреда Дугласа. Несмотря на перерывы в нашем общении, мы оставались друзьями до самой его смерти.

Примерно через год после смерти Уайльда Альфред Дуглас, прозванный «Бози», отправился в Соединенные Штаты в надежде заполучить в жены богатую американскую наследницу. Его сексапильность была несомненной. Несмотря на свою почти неземную красоту, он отлично держался в седле и хорошо бегал. Спортсмен и страстный игрок, он ни в коем случае не был хилым эстетом. Кстати, Уайльд, несмотря на все позерство, мог в случае необходимости постоять за себя, что и доказал еще в Оксфорде.

Самая голубая кровь Англии и Шотландии текла в венах Бози. Он презирал англичан, но гордился шотландскими предками. Как младшему сыну маркиза Куинсберри ему было открыто любое

общество, где бы он ни появлялся, однако его карманы не были набиты золотом. Его отца сегодня помнят лишь как создателя правил проведения боксерских матчей и как подлеца, который под предлогом спасения своего сына навлек непоправимые несчастья и на Бози, и на автора «Баллады Редингской тюрьмы».

Будучи некогда обладателем 200 000 акров земли и внушительного дохода, маркиз спустил большую часть состояния на любовниц и лошадей. Все, что осталось – это «жалкие гроши», 300 000 фунтов, которые его старший сын потерял в результате неудачных спекуляций. Бози был богат лишь своим талантом, красотой и, казалось, неувядаемой юностью. Все это оставалось при нем. Он выглядел юношей и в 40 лет. В 60 лет он по-прежнему оставался моложавым, изящным и по-прежнему был поэтом. В последний раз я встречался с ним в 1938 г., за год до начала Второй мировой войны, когда он принимал меня в своем скромном доме на английском морском курорте.

Когда Бози приехал в Соединенные Штаты, британский посол лорд Паунсфорт оставил свою визитную карточку в отеле, где остановился молодой человек. Его кузен, Перси Уиндем[1] достал ему гостевой билет в престижный клуб «Метрополитен». Однако старые косные члены клуба выступили против молодого британского аристократа из-за его «дружбы с нежелательными персонами». Оскорбительный эпитет относился к несчастному Уайльду. Несмотря на этот инцидент, три аме-

---

1 Очевидно Вирек, имел в виду лорда Перси Дугласа (1868–1920), старшего брата Альфреда, спутав его с писателем и художником Перси Уиндемом Льюисом (1882–1957).

риканские наследницы были готовы позолотить родословное древо Прелестного Принца, но рассерженный и разочарованный Дуглас предпочел отрясти американскую пыль со своих ног. Его прощальным приветом стал сонет, посвященный клубу «Метрополитен».

И это новый мир? О, нет, он старый, право!
Любовь и доброта здесь не в почете ныне.
Здесь правят злоба, зависть и гордыня,
Взамен искусства – жадности отрава
И жажда непомерной, глупой славы.
Сердца остыли, и мечты убоги,
Как в Старом Свете, где погибли боги,
Когда Колумб еще в Америку не плавал.

Дочь Демократии, уже в твоей груди
Пороки старые смогли приют найти.
Где доброта, и честь, и благородство?
Чтоб избежать позора впереди,
Ты этот мир Любовью освяти,
И Новый Свет докажет превосходство.

Это не лучшее стихотворение Альфреда, однако оно было вполне уместно.

Возмущенный оскорблением, нанесенным поэту и памяти Оскара Уайльда, я написал Дугласу. К письму я приложил сонет, посвященный Уайльду[1], признаться, не слишком удачный. Стихотворение, к счастью, потом затерялось, однако оно сблизило меня и лорда Альфреда. Мой отец решительно

1 В сборник стихотворений Вирека на немецком языке «Ниневия» (1906) вошел сонет «Памяти Оскара Уайльда» с посвящением «лорду Альфреду Дугласу» и с эпиграфом, указанным в примечании 3; существовал ли его англоязычный вариант, неизвестно.

настаивал, чтобы я встречался со знаменитым молодым англичанином лишь в присутствии сопровождающего. Один из моих приятелей взялся выполнить эту миссию, однако я сумел избавиться от него перед тем, как встретиться с Бози за ланчем. Мы беседовали на самые разные темы. Когда Альфред заговорил об Уайльде, в глазах у него появились слезы. За чашкой кофе он прочитал мне несравненное стихотворение «Памяти Оскара Уайльда». Сонет тронул струны моего сердца. Дуглас переписал его мне прямо в ресторане. Позднее он подарил мне фотографию, на которой он снят вместе с Оскаром Уайльдом; она до сих пор висит у меня на стене. Впоследствии я одолжил стихотворение и фото Фрэнку Гаррису, который воспроизвел их в своей непотребной книге, порочащей память обоих поэтов[1].

Мою копию сонета предваряет цитата из Библии на латинском: «Meis verbis nihil addere audebant, et supra illos stillabat eloquium meum» («После слов моих уже не рассуждали; речь моя капала на них»[2]).

Его во сне я видел прошлой ночью
С лицом, еще не искаженным болью,
И голос, словно мягкий шум прибоя,
Как в дни былые, обещал помочь мне,
Но мир вокруг рассыпался непрочный…
Заложник гениальности и чувства,
Из пустоты он извлекал Искусство,
И сон волшебный видел я воочью.

---

1 New Preface to «The Life and Confessions of Oscar Wilde». London, 1925.

2 Книга Иова (29:22).

Но на воротах загремел засов.
А я листал забытые страницы,
И сказки вспоминал, что слышал прежде,
И чудеса волшебных, тайных слов.
Но певчие в саду умолкли птицы,
И он исчез, сказав «прости» надежде.

Для обоих поэтов было бы лучше, если бы Дуглас «после [этих] слов уже не рассуждал», однако он это сделал, когда стрела, выпущенная Уайльдом из могилы, устремилась ему в сердце.

Оскар был старше Альфреда на 16 лет. На фотографии он смотрится не слишком привлекательным. Его остроумие был легким, а фигура – тяжеловесной. Дуглас, напротив, выглядит, как молодой фавн. Браслет, который он носил, в те дни казался признаком изнеженности. Сегодня, когда все мужчины носят наручные часы, такого впечатления уже не возникает. Почти женственная красота Бози привлекала как мужчин, так и женщин.

Прежде чем я попытаюсь проанализировать интимную близость между Оскаром и Бози, необходимо постараться понять их личности в свете их собственного лирического само-откровения. Уайльд, несмотря на все позерство, был моралистом, который тщетно пытался задушить свою совесть. Дуглас, несмотря на отвращение к «греху» (после своего обращения к Риму), всегда оставался язычником. Я сформулировал эту теорию почти 30 лет назад в двух эссе, написанных для издательства Гальдемана-Джулиуса[1], и в дальней-

1 Эмануэль Гальдеман-Джулиус (1885–1951), американский издатель; Вирек сотрудничал с ним в 1923-1924 гг., в том числе подготовив для популярной серии «Маленькие голубые книжки» сборники стихов Уайльда и Дугласа.

шем остановлюсь на ней. Дуглас в своей «Автобиографии», опубликованной несколькими годами позже, с одобрением воспринял мою гипотезу. Он откровенно признался, что не рассматривал свои сексуальные отклонения как «греховные» до обращения к католицизму, в то время как Уайльд, постоянно осознавая, что делает что-то «плохое», получал извращенное удовольствие от своих пороков, *потому что* они противоречили нормам морали.

Оскар Уайльд, моралист

В 1895 г. Оскар Уайльд был приговорен к тюремному заключению; три десятилетия спустя его приговорили к бессмертию. Еще до окончания первой четверти XX века здравомыслящие американские критики провозгласили его «самым молодым из классиков». Они не могли признать его «самым старшим из современников». Он принадлежит прошлому по темпераменту и по традиции.

По сравнению с Браунингом и Харди, Уайльд явно старомоден. Он является представителем более старой школы мысли, которая принимала свою философию и мораль в готовом виде. В глубине души Оскар Уайльд верил в старые нормы морали. Если отбросить всё его позерство и парадоксы, Уайльд оказывается моралистом. В этом его секрет и его трагедия.

Блестящие парадоксы не могут успокоить совесть Оскара Уайльда, страдающую от конфликта между общепринятыми нормами морали и запретными устремлениями натуры. Страстное желание оправдать себя выражается в его творчестве в различных направлениях искусства. Он

экспериментирует с эссе, поэзией, романом, комедией и трагедией, одержимый стремлением доказать самому себе, что он – мужчина.

Комплекс неполноценности, проистекающий из сознания собственной бисексуальности, исцелить который не помогает понимание ее биологического обоснования, толкает его на яркое самовыражение и в литературе, и в жизни. Это делает его бесподобным собеседником, автором самых блестящих эпиграмм того времени. Это источник его дерзости и его гениальности.

Самоуверенность Уайльда – маска, скрывающая слабость. Его парадоксы являются скрытым одобрением установленного порядка. Когда этот порядок падет, острота парадоксов притупится. Они станут просто непонятными. Человек, оспаривающий закон, остается его рабом в не меньшей степени, чем тот, кто его защищает. Проницательный и остроумный Честертон понимал верность этого утверждения. В его романе «Шар и крест» католик и убежденный атеист готовы сражаться на дуэли по поводу существования или несуществования Бога. Они – единственные люди во всем Лондоне, которые принимают религию настолько серьезно, что рискуют жизнью ради своих убеждений.

Уайльд, как известно, утверждал, что искусство по сути своей «безнравственно». Однако сами эти утверждения опровергают его веру. Человек, который ставит истины или трюизмы с ног на голову, всего лишь воздает должное их обоснованности. Человек, который кричит о своих взглядах с крыши дома, определенно неуравновешен. Поэт, который, достигнув зрелости, постоянно играет с грехом, который дерзко заявляет, что он очень безнравственный и испорченный человек, – скрытый моралист.

Поскребите эстета – и обнаружите моралиста. Оскар Уайльд и своими произведениями, и своей жизнью служит примером пуританской совести, которую он хочет скрыть и от мира, и от самого себя. Он слишком громко протестует. Его протесты не могут нас убедить, потому что он не смог задушить собственную совесть.

«Портрет Дориана Грея» – это история совести. Когда герой убивает свою совесть, он погибает. Уайльд со сверхъестественным чутьем предсказал собственную судьбу и собственную гибель. Когда после освобождения из тюрьмы какое-то роковое открытие (возможно, достижения в области новой психологии, о чем ему поведали друзья из лаборатории Магнуса Хиршфельда; или он узнал об этом из исследований Хэвлока Эллиса[1]) уничтожило в нем сознание греха, он погиб как художник. Алая Буква[2] перестала быть знаком отличия. Грех перестал быть роскошным и «алым»; он перестал быть грехом.

В «De profundis» Уайльд, раскаиваясь, все еще способен питать иллюзии относительно собственной греховности. Его раскаяние искренне. Покаянное настроение необходимо для его творчества. Когда же это настроение вместе с сознанием греха исчезло, колодец творческого воображения иссяк.

В его пьесах, несмотря на светскую остроумную болтовню, нет стремления подорвать старые обычаи. Уайльд гордится тем, что он «джентль-

---

1 Хэвлок Эллис (1859–1939), английский психолог и писатель, один из основоположников сексологии.

2 «Алая буква» – роман американского писателя Натаниэля Готорна (1804–1864).

мен», принимая нормы своего поколения. Он не является мятежником, как Ибсен; он не создает новую мораль.

«Саломея» наполнена осознанием греха. «Саломея», как и поэма «Сфинкс», изображает желания, с которыми поэт тщетно борется. Солдаты, раздавившие своими щитами Саломею, дочь Иродиады, царевну Иудейскую, исполняют приговор, вынесенный оскорбленным нравственным чувством поэта. «Сфинкс» завершается мольбой к Распятию,

Где слезы льются незаметно
Из утомленных скорбью глаз,
Они оплакивают нас
И всех оплакивают тщетно[1].

«Сфинкс», пожалуй, величайшее лирическое произведение Уайльда, его высшее достижение как поэта (за исключением «Баллады Редингской тюрьмы»), символизирует собой вожделение. Так что «неуклюжая птица» По и «любопытная кошка» Уайльда являются противоположностями.

Оскар Уайльд не мог ни любить, ни творить, если его не подстегивало ощущение запретного. Если он не мог быть святым, он, по крайней мере, мог быть великим грешником. «Роскошные, алые грехи» помогали ему преодолеть чувство органической неполноценности. Мы воспринимаем Уайльда не как грешника, но как человека с необычными сексуальными наклонностями, встречающимися в различных странах и среди различных рас.

Подобно Суинберну и Готье, Уайльд был заворожен «двойным цветением любви», однако, не-

1 Перевод Николая Гумилева.

смотря на позу откровенного бесстыдства, этому «королю жизни» и «повелителю слова» недоставало великолепной дерзости его учителей в отношении темы страсти. Страсть у Уайльда никогда не бывает бесстыдной. Ни в поэзии, ни в прозе. Я не намерен цитировать здесь его осторожные отговорки, когда он попал в западню устаревшего и лицемерного закона; его единственной задачей было освободиться от пут, в которых он оказался из-за хитрости врагов и опрометчивости друзей.

В душе Оскара Уайльда (возможно, это результат перенесенных в детстве психических травм) физическое влечение никогда не было свободно от инфантильных табу. Даже в «Сфинксе», отличающемся наиболее откровенным языком, где он говорит от первого лица, Муза не осмеливается прямо взглянуть на чувственные фантасмагории его подсознания, но всего лишь сладострастно бросает на них взгляды сквозь пальцы.

В большинстве случаев Уайльд скрывает свои пристрастия под туманным покровом педантичной аллегории, религиозного раскаяния и классического знания. Психический эксгибиционизм, который, вероятно, является главным источником всех художественных произведений, постоянно борется в Уайльде с глубоко укоренившимся британским чувством благопристойности.

Когда в «De profundis» он говорит, что превратное стало для него в области страсти тем же, чем парадокс в сфере интеллекта, он по-прежнему играет терминами, не пытаясь реально понять основные свойства своей натуры.

Публичное провозглашение особенностей своей личности на суде и признание в «De profundis», вероятно, принесли ему колоссальное психиче-

ское облегчение. Однако либо он был уже неспособен восстановить свою защиту против собственного чувства неполноценности, от чего в значительной степени зависел его творческий инстинкт, либо он лишился чувства стыда – того восхитительного осознания греха, без которого его Муза была бесплодна.

Неспособный прославлять плотское, не испытывая угрызений совести, Уайльд не был ни язычником, ни греком. Он был ирландцем, выросшим в атмосфере Англии XIX столетия. Он был бы абсолютно чужим в Афинах времен Алкивиада. Он не мог бы, как Уолт Уитмен, «воспевать электрическое тело».

Сфинкс – называйте его осознанием греха, вожделением или табу, подобно Ворону, преследовавшему По, – навсегда поселился в подсознании поэта. Эта тень постоянно преследует его. В конце концов, кастрация кажется единственным избавлением.

> И Аттис с поднятым ножом
> Меня, смущенного, был чище.

Никакой грек не мог бы написать «Дом блудницы». Уитмен не мог бы его написать. Сквозь жеманную музыку поэтических строчек мы слышим агонию страдающей души поэта. В Уайльде всегда присутствует чувство потери и тщетного раскаяния. Сонет «Увы», которым он предваряет свои стихотворения, является декларацией и признанием. Никогда Уайльд не заявлял о своих обстоятельствах яснее и поэтичнее, чем в следующих откровенных строчках:

… В любовный мед
Я небольшой свой жезл опять вонзаю.
И что, души наследство я теряю?»[1]

Те же мотивы появляются в «Горькой сладости любви», но неубедительно. «Я сделал выбор, я прожил свои стихи», – восклицает он. Однако мы чувствуем, что этот выбор не окончательный. В другом стихотворении поэт подбадривает себя, чтобы вновь обрести мужество. Он назвал его «Апология». Бедный Оскар постоянно извиняется! Суинберн, Катулл, Сафо никогда не извинялись. Оскар – «наследник печали». Он пребывает в «Доме боли», наслаждаясь и своим пороком, и своей печалью. В «Taedium Vitae» он протестует против «сброда, охрипшего в спорах», где его «белый дух с грехом впервые целовался в рот»[2] , однако лишь порок позволяет ему ясно высказаться.

Другие поэты с комплексом бисексуальности были достаточно откровенными. Шекспир не делал секрета из своей привязанности к W. H., юному белокурому другу, чей облик появляется в сонетах. Микеланджело не боялся объявлять о своих эллинских пристрастиях. Дуглас написал «Две любви» и «Гимн физической красоте». Уайльд лишь смутно намекает на то, что движет им; обычно он делает это в связи с какой-нибудь классической аллюзией. В «Портрете Дориана Грея» он кормит нас косвенными намеками. Лишь однажды, в стихотворении «Портрет мистера W. H.» он откровенно подходит к проблеме.

---

1 Перевод Вадима Николаева.

2 Перевод Юнны Мориц.

Следует обратиться к туманному отрывку из пространного стихотворения «Бремя Итиса[1]», чтобы найти описание Уайльдом тайны его двойной природы в поэтической характеристике Салмация, «который не юноша и не дева, но то и другое, питаем двумя огнями, но не удовлетворен».

Чувство греха в Уайльде объясняет его религиозные настроения: «Великий Пан мёртв, а сын Марии стал Царём». Уайльд признает сына Марии. Пан мог бы освободить его от чувства греха. Он предпочитает спасение через Голгофу. Парки удовлетворяют его желание. Однако если бы в дни, когда он пел, Пан очистил его душу и омыл его плоть, или Иисус сошел с небес с божественным обещанием прощения, его лира замолкла бы, а парадоксы застыли бы на губах.

Так или иначе, двойственность сексуальной природы вместе с сознанием греха сделали Уайльда поэтом. Его гений был компенсацией за чувство неполноценности. В попытке оправдать себя он значительно обогатил и прозу, и поэзию своего времени. Бессмысленно гадать, кем бы он был без сознания греха и комплекса неполноценности. Обычным ирландцем, развлекающимся в Лондоне, или выдающимся поэтом своего поколения.

---

1 Итис – в греческой мифологии сын Аэдоны и Политехна; мать зарезала его и угостила его телом отца, за что была превращена в соловья, оплакивающего Итиса. По другой версии мифа, Итис – сын фракийского царя Терея, который был убит в младенчестве своей матерью Прокной и теткой Филомелой, а затем подан в виде кушанья Терею; так женщины отомстили царю за насилие, учиненное им ранее над Филомелой.

Более известный в связи со скандалом, чем благодаря заслугам, чаще упоминавшийся в зале суда, чем на Парнасе, лорд Альфред Брюс Дуглас является, тем не менее, одним из выдающихся английских поэтов.

Его поэзия отличается своеобразием и внутренней силой. Его техника безупречна. Способные
196 понять его таинственный гений считают его мастером английского сонета. По крайней мере, никто – ни Шекспир, ни Мильтон, ни Суинберн, ни Россетти – не создали более совершенных сонетов. Он написал немного, но его произведения – не дешевая подделка. Каждое стихотворение – шедевр.

«Массовое производство» не дает пропуска в бессмертие. Даже величайшие поэты обязаны своей славой относительно небольшому числу произведений. У большинства профессиональных писателей слишком много балласта. Слишком часто их пшеница похоронена под грудами плевел. Слишком часто у их драгоценных камней дешевая оправа. Это относится и к Мильтону, и к Байрону, и к Китсу, и к Шелли, и к Суинберну, и даже к Шекспиру. Однако это не относится к Эдгару По или к Альфреду Дугласу.

Дуглас, подобно По, оставил нам немного стихотворений. Однако каждое из них – драгоценность; среди них нет дешевых стекляшек. Разумеется, одни более совершенны, нежели другие. Самыми сверкающими драгоценными камнями в коллекции лорда Альфреда Дугласа, помимо его сонетов, каждый из которых – бриллиант, являются баллады «Перкин Уорбек», «Нарцисс и Флёр-де-Лис», «Святой Витт», «Легенда о Спинелло» и «Две любви», которая сыграла столь трагическую роль на суде над Оскаром Уайльдом.

Его баллады несравненны. При этом в современной литературе сложно найти более совершенную лирику, чем «Вечная жалоба», «De profundis», «Отвергнутый» и «Спутник» с рефреном: «Но пришла печаль и вернула меня к тебе».

Литературную репутацию лорда Альфреда Дугласа затмила его злополучная дружба с Оскаром Уайльдом. Будучи Дугласом и Куинсберри, он не отличался благоразумием и осторожностью, легко наживая врагов в каждом лагере. Он вступал в бурные споры на политические и расовые темы. Горячий темперамент доводил до того, что на него подавали в суд за клевету. Обвинив Уинстона Черчилля в том, что тот продал еврейским банкирам информацию о поражении британского флота при Скаггераке (Ютландская битва), он был приговорен к тюремному заключению.

Оскорбительная записка, написанная маркизом Куинсберри, отцом лорда Альфреда Дугласа, и адресованная «Оскару Уайльду, содомиту», стала началом судебного дела о клевете, в результате чего автор «Портрета Дориана Грея» был низвергнут с вершины успеха в пучину каторжного труда. Дуглас заклеймил своего отца «Балладой ненависти». «Баллада Редингской тюрьмы», написанная Уайльдом после освобождения из заключения, в значительной степени обязана своим совершенством вдохновляющим советам и энергичному сотрудничеству лорда Альфреда Дугласа.

Дуглас был 20-летним юношей, когда встретился с Оскаром Уайльдом. Их пылкой дружбе, часто перераставшей в бурное выяснение отношений, пришел конец лишь после смерти одного из них. Причиной посмертной ссоры, уникальной в истории человеческих отношений, послужило сделанное Дугласом неприятное открытие, что

опубликованные отрывки из «De profundis» являются частью пространного обвинения, сформулированного против него Уайльдом в тюрьме, когда Роберт Росс и другие сплетники убеждали его (совершенно безосновательно), что Дуглас примкнул к крысам, которые бросились бежать с обломков его корабля.

Росс, который напечатал произвольно выбранные отрывки из рукописи, передал ее полный текст в Британский музей с тем, чтобы она была опубликована в 1960 г. Дуглас, которого не прельщала мысль о том, что после смерти он будет объектом всеобщего презрения из-за тюремных вспышек Уайльда, ответил судебным иском и книгой, порочащей память покойного друга. И то, и другое было ненужно и бессмысленно.

Суд он проиграл. Книгу, местами убедительную, портят язвительность и мелочное злорадство, недостойные автора. Было бы гораздо лучше, если бы Дуглас почивал на литературных лаврах. Его стихи являются для него лучшим оправданием.

Дуглас, с его мальчишеским тщеславием, с его стремлением пренебрегать мнением света, несомненно, несет ответственность за многие неблагоразумные поступки Уайльда. Тем не менее, он также являлся для Уайльда источником вдохновения. Сам Уайльд во взволнованных отзывах о стихотворении «Две любви» и в эмоциональной переписке с Дугласом дает ключ к священной тайне своего сердца. Дуглас был для него тем же, чем для Шекспира W. H., вдохновитель сонетов. Название «Две любви» заимствовано у Шекспира:

> На радость и печаль, по воле рока,
> Два друга, две любви владеют мной[1].

1 Перевод Самуила Маршака.

Мне есть, что еще сказать об этом стихотворении, которое сыграло столь пагубную роль на процессе Уайльда.

Дуглас в оскорбительной книге «Оскар Уайльд и я» приписывает эротическим прихотям Уайльда свойства, которые трудно примирить с его [Дугласа] «Гимном физической красоте», где тот воспевает «сладкую, бесплодную любовь, [которая] в Элладе считалась полубожественной». Лорд Альфред Дуглас играет с греческим огнем во многих произведениях.

Впрочем, несмотря на это противоречие, не следует обвинять Дугласа в лицемерии. Напомню еще раз, что, как показывает психоанализ, можно любить и ненавидеть одновременно, причем совершенно искренне; некоторые эмоции, подобно некоторым математическим формулам, могут быть как со знаком «плюс», так и «минус».

Дуглас, каковы бы ни были его интеллектуальные убеждения после обращения к религии, вероятно, не осознавал, что он по сути своей – язычник. Его язычество было более радостным и счастливым, чем у Суинберна. Уайльд был ирландским протестантом с сознанием и совестью представителя среднего класса, получившим основательное католическое образование, который тщетно пытался заставить себя поверить в то, что он – эллин. Дуглас был эллином, который тщетно пытался предстать католиком. Одежда была не по размеру. Нетрудно разглядеть под монашеской рясой раздвоенное копыто Пана.

«Нарцисс» и «Флёр-де-Лис»[1], возможно, получили священный знак крещения, однако оно оставило в их душах не больший след, чем теплый ве-

1 Принц Флёр-де-Лис – одно из прозвищ Дугласа.

сенний дождь на бледно-розовых телах. «Перкин Уорбек» – всего лишь юноша, наслаждающийся жизнью. Он не думает о Христе до тех пор, пока ему не грозит виселица. «Святой Витт», несмотря на свое благочестие, является танцующим Фавном в маске. Сам дьявол не нашел бы лучшего адвоката во всей литературе, чем в «Легенде о Спинелло» лорда Альфреда Дугласа.

Движимый противоречивыми чувствами и комплексами, запутавшийся в противоречиях между инстинктом и разумом, поэт жалуется, что потерял и Назареянина, и Аполлона. Однако его опасения напрасны. Аполлон не может отказаться от такого преданного почитателя. И даже Иисус не может не улыбнуться при виде поэта, который пришел к нему с венком прекрасных лирических стихов.

Мало кому из поэтов удавалось сделать красоту столь осязаемой. Даже Фрэнк Гаррис смиренно спускается со своих критических высот перед магией таких строчек, как «Куда, моя беззащитная душа, нас бросит жребий?».

Такие прекрасные цветы может увидеть любой, кто прогуливается в саду поэта. В отличие от Суинберна, Дуглас никогда не скучает. В отличие от Россетти, он никогда не заботиться лишь об удачных выражениях. В отличие от Уайльда, он никогда не бывает комедиантом, но всегда – поэтом. Всю свою эксцентричность он сублимирует в искусстве.

Биохимия страсти

Что делало Альфреда Дугласа столь неотразимым для Оскара Уайльда? Уильям Фримен, биограф Бози, называет его «гениальным испорченным ребенком»[1]. Это очень точная характеристика. В нем сочетались гениальность и инфантильность; он всегда был наполовину чертенком, наполовину эльфом. Вызывающая юношеская красота Бози, аристократическое презрение к мнению общества, пылкое восхищение старшим другом – все это придавало ему безусловное обаяние. Как знать, не обошлось ли здесь и без доли снобизма. Возможно, Уайльд не обожал бы его так безумно, если бы тот не был «лордом» Альфредом Дугласом. Между прочим, в данном случае слово «лорд» перед именем младшего сына маркиза является лишь формальным уважительным обращением, как того требовал обычай, а не реальным титулом. Так, это не давало ему права на место в Палате лордов.

Дугласа, в свою очередь, привлекали известность Уайльда, его остроумие и волшебная способность «извлекать чудо из пустоты». Поскольку карманы Бози были пусты, он был отнюдь небезразличен к материальному благополучию Уайльда, но это лишь второстепенный мотив. Роскошь и так всегда была при нем. Пока Оскар Уайльд срывал аплодисменты у публики, любой приличный дом в Англии был открыт для Бози.

Тем не менее, были причины, которые разделили Оскара и Бози. Дуглас был Нарциссом, влюбленным в собственный образ, – в том числе, в

---

1 Заглавие книги английского литературоведа Уильяма Фримена о Дугласе, вышедшей в 1948 г.

других. Он любил юность, стройную и изящную. Полнеющий драматург средних лет был не в его вкусе, и я подозреваю, что Уайльд, когда им овладевали низменные страсти, предпочитал лакеев, посыльных, официантов и мужчин-проституток с лондонского «дна» вместо изощренной элегантности лорда Альфреда Дугласа. И все же их неудержимо влекло друг к другу; какая-то чуть ли не биохимическая взаимосвязь заставляла их встречаться снова и снова, после самых отвратительных ссор и скандалов, после самых мерзких оскорблений. Из такой невероятной привязанности, которую трудно описать формальной логикой, возникают вечная любовь и вечная дружба. Может, когда-нибудь новый Эйнштейн решит это биохимическое уравнение, объясняющее влечение друг к другу двух человеческих существ.

Уайльд, несмотря на предубеждения света, всегда возвращался к Бози. Бози простил Уайльду удар ножом в спину – «De profundis». Когда ему было уже за шестьдесят, он сказал мне: «Да, я любил Оскара. Моя любовь к нему была, возможно, глубже, чем его ко мне».

Мы стояли в гостиной его дома в курортном местечке Хоув, недалеко от Брайтона. Гнев по поводу несправедливых обвинений Уайльда уже почти прошел. Он даже мог шутить по поводу давних событий. Он с горечью признал, что, пребывая в раздраженном настроении, уничтожил или продал большую часть писем Уайльда.

«Неужели вы не сохранили ничего на память о вашей дружбе?» – спросил я.

Бози указал на увесистый портфель, на котором красовались инициалы «C. L.».

«Это, – сказал он, – подарок от Оскара».

«Что означают эти буквы?»

Дуглас рассмеялся.

«Компрометирующие письма» (Compromising Letters).

Беспечность молодого Альфреда в отношении романтических «стихов в прозе» Оскара заставляла Уайльда неоднократно выкупать их у шантажистов. Некоторые из них всплыли на суде. Другие, владельцем которых после смерти Уайльда стал Роберт Росс, послужили ему уликами против Альфреда Дугласа.

«Если бы, – улыбкой заметил Дуглас, – *все* наши письма были опубликованы, они спасли бы репутацию Уайльда и реабилитировали меня; они бы обнажили духовную сущность нашей бурной дружбы».

Дуглас свободно признавался, что, хотя его привлекали оба пола, в юности он больше интересовался мужчинами, которые боготворили его, чем женщинами. Судя по всему, от женщин было труднее добиться поклонения. Бози не мог отвечать на любовь, если она не была приправлена курением фимиама вокруг него. Его жена Оливия Кастанс[1] страстно добивалась его, прежде чем он ответил на ее чувства. Будучи сама поэтессой, она называла его «принцем» и говорила о себе как о его «эпизоде».

Скоропалительная женитьба – он похитил Оливию у ее жениха – поначалу была счастливой. Оливия была очарована всем женственным в своем возлюбленном. Это Дуглас открыто признает. «Когда, уже после, как мы поженились, я стал вести себя более по-мужски, ее обожание пошло на убыль. Скандалы, ссоры, судебные иски, однако, –

1 Оливия Кастанс (1874–1944), английская поэтесса, жена Дугласа с 1902 г.

утверждает Дуглас не без самодовольства, – мы оба были католиками, поэтому не развелись».

Женитьба Бози состоялась вскоре после моей первой встречи с ним в Нью-Йорке. Когда я видел его в последний раз, его чувства к Оливии можно было назвать дружескими. Она по-прежнему его любила. Она жила в том же городе, но не под одной крышей с Прекрасным Принцем. «Еще возможно примирение», – с надеждой предполагал Бози. Вмешательство семьи Оливии разрушило брак. Главным яблоком раздора между Бози и женой стал их единственный сын Рэймонд. Я не знаю, пережил ли Рэймонд своего отца[1]. По-моему, его поместили в лечебницу. «Они были вынуждены удалить его», – сухо заметил Дуглас.

Уайльд также, по крайней мере, какое-то время любил свою жену Констанс. Привязанность к Оскару все еще теплилась в ее сердце после его падения и развода. В последнем письме к сыну, Вивиану Холланду, Констанс просит его по-доброму думать об отце, который любил его. Сам Уайльд, несмотря на все прегрешения, был безупречным отцом. Оскар и Констанс так никогда и не встретились после освобождения Уайльда из тюрьмы.

Из всего этого ясно, что ни Уайльд, ни Дуглас не были исключительно «гомосексуалистами». При более счастливом стечении обстоятельств и при не столь непокорной физиологии они могли бы вести нормальную жизнь. В юности Уайльд подцепил от женщины болезнь, которая сегодня лечится пенициллином. Накануне женитьбы он вроде бы излечился, однако время от времени она давала о себе знать. Можно предположить, что эта

---

1 Рэймонд Дуглас (1902–1964) с 1927 г. большую часть жизни провел в психиатрических лечебницах.

болезнь ускорила его кончину. Дуглас, даже в юности, иногда общался с женщинами-на-одну-ночь, которые по вечерам наводняли Пиккадилли. После разрыва с Оливией он жил с женщиной, пока религиозные угрызения совести не взяли верх над влечением плоти. Однако было бы напрасно отрицать, что гомоэротические склонности преобладали и в жреце эстетики Уайльде, и в его молодом «служке» Альфреде Дугласе.

В книге «Оскар Уайльд и я», лицемерной поделке, написанной в основном отравленным пером его помощника Уильяма Кросленда[1], Дуглас отрицал плотский аспект своей любви. Впоследствии Бози искренне раскаялся в вопиющей лжи и в подлой клевете на Оскара. Он признал, что получил гомосексуальный опыт еще в школе. Как большинство привилегированных частных школ Англии, Винчестер был рассадником таких интимных связей. Наряду с классическим образованием ученики приобщались к классическим извращениям. Бози признался мне, а также писал в «Автобиографии», что для него не было никаких моральных, религиозных или сексуальных запретов, когда на его пути встретился Оскар Уайльд. Его душа не была заключена в целлофановую упаковку. Бози не был «девственным», когда две эти темпераментные личности встретились.

Еще до этой исторической встречи Уайльд шокировал и очаровал мир «Дорианом Греем», а Бози восхитил друзей по Оксфорду стихотворением «Две любви». И роман, и стихотворение сыграли свою роль во время суда над Оскаром Уайльдом. Стихотворение рассказывает о встрече двух юно-

1 Томас Уильям Кросленд (1865 или 1868–1924), английский журналист и писатель.

шей в фантастическом тропическом саду. Один был радостным; он держал лютню из слоновой кости со «струнами златыми, будто волос девы». Другой «смотрел, вздыхая глубоко». На вопрос, как его зовут, он ответил, что его зовут Любовь.

Но первый обернулся, негодуя:
«Тебе он лжёт, его зовут все – Стыд,
Лишь я – Любовь, я был в саду, ликуя,
Один, теперь и он со мной стоит;
Сердца парней и дев я неизменно
Огнём взаимным полнил без обид».
Другой вздохнул: «Желания священны,
Я – та Любовь, что о себе молчит»[1].

Все стихотворения Бози раскрывают ориентацию его либидо и предпочтение юношам, а не мужчинам с тяжелыми челюстями и выступающими животами. Возможно, противоречие между идеалом красоты и не слишком привлекательным телосложением Уайльда всегда присутствовало в подсознании Бози; вероятно, это посеяло семена нескончаемых ссор и гневных вспышек с его стороны.

Дуглас фактически не отрицал сравнительно безобидные «близкие отношения» с другими молодыми людьми в Винчестере и повсюду. Принимая подобные «близкие отношения» как само собой разумеющееся в его социальном климате, он радовался, что «в этот печальный последний день найдется кто-нибудь верящий, кто отважится сказать: «Мы должны любить то, что наиболее прекрасно»».

Когда Оскар впервые появился в поле зрения юноши, Бози счел его внешность непривлекатель-

1 Перевод Александра Лукьянова.

ной, даже «комичной». Однако сладкозвучный голос Уайльда усыпил физическую неприязнь. Тем не менее, прошел почти год, прежде чем он вступил в «близкие отношения» с Оскаром. Разумеется, никакого намека на такие «близкие отношения» нет ни в стихотворении Бози «Две любви», ни в блистательной защите Уайльдом этого произведения, когда он сидел на скамье подсудимых. «Неясно, – сказал прокурор, – идет ли речь о естественной или противоестественной любви?»

«Нет», – ответил Уайльд.

Прокурор: «Что такое любовь, которая не смеет назвать своего имени?»

Уайльд: «Любовь, которая не смеет назвать своего имени, в нашем веке означает глубокую привязанность старшего мужчины к младшему, которая существовала между Давидом и Ионафаном; которую Платон сделал основой своей философии; которую вы можете найти в сонетах Микеланджело или Шекспира. Это глубокая, духовная привязанность, чистая и совершенная. Это чувство диктует и наполняет великие произведения искусства, как, например, произведения Микеланджело или Шекспира, и таковыми являются два моих письма.

В нашем веке это чувство остается непонятым, настолько непонятым, что его можно описать как «любовь, которая не смеет назвать своего имени», и именно из-за этого я оказался там, где нахожусь. Это прекрасная, высокая и благородная форма привязанности.

В этом чувстве нет ничего противоестественного; оно раз за разом возникает между старшим мужчиной и младшим, когда старший обладает интеллектом, а младший всей радостью, надеждой и великолепием жизни. Именно этого чув-

ства мир не понимает. Мир насмехается над ним и иногда стремится пригвоздить кого-нибудь за него к позорному столбу».

Если бы суд закончился здесь, Уайльд был бы с триумфом оправдан. К сожалению, здесь он не закончился. Вереница перепуганных молодых людей, которым пообещали освобождение от судебного преследования, если они дадут показания на стороне обвинения, свидетельствовала против Уайльда. Грязные описания слетали не с «алых, как вино, губ юношей», но исходили от сомнительных личностей с акцентом кокни, шантажистов, отбросов лондонского дна; некоторые из них попались в сети известного сводника Альфреда Тейлора, второго подсудимого на процессе Уайльда. Горничные отелей охотно рассказывали об отвратительном состоянии постельного белья в номерах, где Оскар останавливался со своим спутниками на одну ночь; эти ночи не были освящены «божественным Эросом» Платона. «Уранической страсть» лежала в пыли, попранная ногами самого поэта.

Никакое красноречие, никакие высказывания, даже самые выразительные, не могли изгладить из умов присяжных грязные подробности собранных доказательств. Уайльд был обвинен не в «содомии», но в «непристойных действиях». В противном случае приговор мог быть еще более драконовским. Ни один почитатель Оскара Уайльда, даже самый преданный, не может без содрогания читать стенограмму судебных заседаний. «Любовь, что не смеет назвать своего имени», описанная в прямых физиологических терминах, начисто лишается всяческой привлекательности. Как, впрочем, и любая другая любовь. Мы слишком привередливы, чтобы смотреть в лицо фак-

там. Мы не перестаем думать. Сексуальный акт, лишенный романтического покрывала, уже не кажется прекрасным. Физические проявления страсти представляются непристойными, нелепыми или откровенно отвратительными, если, конечно, мы сами в этом не участвуем. Это верно даже в отношении физического союза, освященного традицией, – ласк в супружеской постели.

Никто, отягощенный запретами нашей цивилизации, не осмеливается представить своих родителей в процессе воспроизводства потомства. Мы боимся подумать о том, что выдающиеся исторические персонажи, такие как Иисус, Платон, Шекспир, Микеланджело, Ганди, были людьми и имели органы для физиологического очищения и секса. Нам не хватает внутренней смелости представить их человеческую природу. В стихотворении «Три сфинкса» я возлагаю вину за парадоксальность человеческой натуры на Создателя, который заключил человеческий разум в шкуру животного:

Катились волны вечности в тиши…
Чтоб вечную дилемму разрешить,
Он Дух и плоть соединил, и сделал
Животное прибежищем души.

Этот нелепый союз является причиной большинства физических реакций на духовные стимулы.

За что меня терзает плотский голод,
Который плоть лишь сможет утолить?

Найдется ли хоть один интеллектуал, который никогда не задавал себе этот вопрос?

Была ли физическая близость между Уайльдом и Дугласом чем-то большим, чем его школьные

«близкие отношения» – спорный вопрос. Дуглас отрицает это. Он настаивает, что их отношения никогда не достигали уровня, который ассоциируется в общественном сознании с «городами окрестности сей»[1]. Гаррис настаивает, что, по крайней мере, однажды, согласно признанию, которое ему сделал сам Дуглас, Оскар приобщил Бози к практике, которую обозначают по-латыни даже в медицинских учебниках. Может быть, это правда, может, неправда. Морально и психологически это не имеет большого значения. К тому же Гаррис не всегда правдив. Он часто прибегает к тому, что Уайльд называл искусством лжи, «как искусство, наука и светское развлечение». Когда во время одной из наших последних бесед я повторил его [Гарриса] утверждение Дугласу, тот промолчал, ни подтвердив, ни опровергнув «обвинение».

Близкие отношения того или иного рода между двумя мужчинами длились в течение нескольких лет. По словам Дугласа, они прервались еще до суда над Уайльдом и никогда не возобновлялись после его освобождения. В это я готов поверить, учитывая ухудшение физического состояния Уайльда после двух лет в британской тюрьме.

Существует один момент, который Бози не смог внятно объяснить, а именно, почему Уайльд не бежал из Англии до суда. Британское правительство намеренно тянуло с ордером на его арест. И Бернард Шоу, и Фрэнк Гаррис неоднократно рассказывали во всеуслышание и повторяли мне, как они тщетно пытались убедить Уайльда покинуть Британию на время, пока скандал не утихнет. У

---

1 Аллюзия на упоминание Содома и Гоморры в Книге Бытия (19:29).

Гарриса была наготове яхта, чтобы переправить Оскара во Францию. Однако Оскар настаивал на том, чтобы досмотреть спектакль до конца. Было ли его решение принято по желанию Бози, крайне самоуверенного и испытывавшего непреодолимое желание унизить своего злобного отца? Была ли это бравада со стороны самого Уайльда? Было ли это результатом нервного истощения, парализовавшего его волю? Все эти факторы могли присутствовать, однако объяснение лежит в другом. Чувство нравственности Уайльда сыграло с ним злую шутку. Моралист, «суперэго» по Фрейду, в подсознании жаждал наказания. Уайльд был своим собственным палачом.

История суда над Уайльдом и его изгнания слишком хорошо известна, чтобы ее требовалось пересказывать. В тюрьме его сознание упивалось раскаянием. Но так ли было необходимо включать Прекрасного Принца в список безжалостных обвинений, которые он предъявлял самому себе? В конце концов, путем логических заключений Уайльд возложил основную вину за свое падение на Бози. Кто знает, какую роль сыграл Роберт Росс в том, чтобы настроить Уайльда против его «милого мальчика» после девяти месяцев, проведенных в тюрьме?

Формально «De profundis» было письмом, которое Оскар адресовал Бози и доверил Россу. Последний его так и не доставил. В течение 11 лет Дуглас ничего не знал о гневных обвинениях, выдвинутых другом против него. Затем в результате судебного иска ранее неопубликованные части «De profundis» появились на свет. Так обнаружилась неожиданная скупость Оскара Уайльда. Со скрупулезностью профессионального бухгалтера

он перечисляет каждый пенни, потраченный на Бози. Каждый ужин, каждый подарок, каким бы пустяковым он ни был, включен в этот скаредный подсчет. Однако в то время Дуглас был двадцатилетним юношей со скудным содержанием. Уайльд был гораздо старше и получал значительный доход от своих пьес. Должен ли джентльмен выставлять счет любимому человеку за каждый цветок, который он подарил, за каждую трапезу? Лучше бы эти части «De profundis» никогда не были написаны. Они не делают чести ни Уайльду, ни его юному протеже. Однако через три недели после освобождения, несмотря на брюзжание Росса и протесты жены, Уайльд вновь оказался в объятиях любви. Влечение на биохимическом уровне оказалось сильнее осуждения света и противоречивой враждебности со стороны самого Уайльда, которая заставляла его клеветать на свою любовь.

Через несколько лет ситуация изменилась. Дуглас, который получил скромное наследство, неоднократно помогал другу деньгами. Он даже убедил свою мать, маркизу Куинсберри, оказать помощь Уайльду. Дуглас сумел обратить милую пожилую леди в католицизм, когда той было 78 лет. Она всегда любила Бози. Я помню, как много лет назад мы с женой были гостями у нее на ужине, и как пожилая, но еще полная жизни вдова следила за Бози восхищенным взглядом. Тем не менее, она угрожала лишить Бози денег, если тот продолжит жить с Уайльдом после его освобождения из ада британской тюрьмы. Жена Оскара, Констанс, также угрожала лишить Уайльда скудного содержания, которое она ему выделяла. Это заставило двух друзей на время расстаться, однако ничто не могло их разлучить. Они встречались

вновь и вновь, невзирая на все запреты. Несмотря на жертвы, которые Бози приносил ради Уайльда, тот, уже стоя на краю могилы, писал истеричные письма друзьям, обвиняя Бози в бессердечии и скупости.

Когда через много лет после смерти Уайльда Бози обнаружил эти письма, скрытая ненависть вновь вырвалась наружу. Он сравнил Уайльда со старой шлюхой, умоляющей о сочувствии. Оба мужчины порой проявляли злобность и истеричность, свойственные женщинам. Такое поведение весьма характерно для гомосексуалистов. Дуглас прожил достаточно долго, чтобы раскаяться в том, что осквернил свою любовь. Единственным оправданием для Уайльда является предположение, что в последние годы он был не в себе. «Любимых убивают все». Кто не помнит этот отчаянный возглас? Думал ли Уайльд о себе и Бози, когда писал эти строки? Несмотря на взрывы эмоций, легенда об их любви переживет непристойные ссоры. Так же как их произведения переживут (если что-то вообще переживет) следующий ледниковый период.

Когда Уайльд умер, Дугласа не было рядом. Росс убедил его, что болезнь пустяковая. Когда новость дошла до него, Дуглас немедленно поспешил в Париж. Именно он оплатил похороны Уайльда на кладбище Баньо. Впоследствии Уайльд был перезахоронен на Пер-Лашез в тени Монмартра. Росс и сын Уайльда Вивиан перенесли бренные останки на кладбище, где покоится прах Генриха Гейне. Дуглас при этом не присутствовал. Рана от предательского удара ножом в спину еще болела.

Поскольку Уайльд и Гейне, мой любимый немецкий поэт, никогда не встречались во плоти, я взял на себя смелость представить друг другу их

призраки[1]. Уайльд, как и Гейне, принадлежал к угнетенной расе. Оба оказались отверженными среди соотечественников. Оба умерли в изгнании. Возможно, по ночам, под всхлипы ветра, два призрака ведут беззвучные беседы.

Источник: Robert Warwick <George Sylvester Viereck>. The Love That Dared Not Speak Its Name // American Aphrodite. Vol. 4. № 15 (1954).

1 Вирек имеет в виду свое стихотворение «Призрак Оскара Уайльда» («Монмартрская баллада»).

АЛИСТЕР КРОУЛИ

«ИСПОВЕДЬ»

(фрагменты).

I

Однажды – думаю, в начале 1915 г. – я сидел на верхней площадке автобуса <…> погруженный в собственное тщеславие. Из Англии мне прислали подборку вырезок, в которых меня именовали величайшим поэтом, философом, мерзавцем, альпинистом, магом, дегенератом и святым всех времен. Я думал о том, что в них не сказано и половины – как в истории о посещении Царя Соломона Царицей Савской.

Легкое прикосновение к плечу вывело меня из состояния задумчивости, в котором признательность перемешалась с разочарованием. Голос извинился за беспокойство. Его обладатель, увидев вырезки с лондонской «шапкой», решил, что читающий их как минимум говорит по-английски – в городе, где романтика изъясняется на идише. Если так, спросил он, стою ли я за честное отношение к Германии и Австрии? «Да», – ответил я. Я часто думал, что немцы и австрийцы были бы куда луч-

ше, если мелко покрошить их в суп, но не стал говорить об этом собеседнику, поскольку интуиция приучила меня к осмотрительности. Незнакомец, с чисто ирландским добродушием назвавшийся О'Брайеном, сказал, что выходит на 37-й улице, но если я буду любезен взять его визитную карточку, готов продолжить беседу у себя в конторе. <…>

Я отправился к О'Брайену, но его там не было. Думаю, я его больше не видел. Контора оказалась редакцией еженедельника «Fatherland». К моему изумлению, обо мне там знали, кажется, всё. О'Брайена заменяло необычное создание – наполовину крыса, наполовину кролик, если я что-то понимаю в зоологии, – по имени Джозеф Бернард Рети[1]. На эту Божью тварь я смотрел со смешанными чувствами, склоняясь к пессимистическому атеизму, особенно когда узнал, что передо мной светоч Поэтического общества – как любой в Нью-Йорке, кто мог сплести вместе дюжину слов без мелодии и смысла. (Вообще он был довольно славным малым).

Должен признаться, я не знал, как с ним разговаривать. Быстрота еврейской смекалки подсказала ему, что я пришел к хозяину, за которым он послал с помощью загадочных жестов, составляющих подлинный язык евреев и других человекообразных. К моему удивлению, хозяин узнал меня и бросился навстречу с протянутыми руками, выпученными глазами и ртом, выражавшим запоздалое раздумье. Человека звали Джордж Сильвестр Вирек.

---

1 Джозеф Бернард Рети, американский поэт, заместитель редактора журнала «International», сотрудник журнала «Fatherland».

По-своему, я восхищался им. Он обладал необыкновенным даром вызывать у большинства людей инстинктивное отвращение, похожее на ощущение при взгляде на жабу. Он низок и труслив до психологически необъяснимой степени, однако его трусость настолько скрыта хитростью, что он способен до конца идти к безнадежной цели. Рискуя вызвать бурю возмущения, я считаю его, в основе своей, храбрейшим из храбрых. Он все время пускается в бегство, но никогда не забывает «сразиться в другой раз». Однажды он хвастался, что приходится внуком первому германскому кайзеру, от его союза с актрисой Аделью (так – В.М.) Вирек. Заявление уязвило Америку в два самых больных места. Оно утверждало превосходство и игнорировало приличия. Вирек попытался загладить свою похвальбу, но я уверен, что в глубине души он при каждой трудности утешал себя, тайком говоря: «Я не из отбросов, как эти американцы».

Его манеры были приятны – слишком приятны для джентльмена. В душе он гомосексуалист – уверен, что не на практике – и знает о своей неполноценности, которая делает его робким. Это подчеркивается нервной натурой. Он наделен выдающимся талантом к отточенным фразам, сильным чувством ритма и большим критическим даром, который спрятан под оппортунизмом. Его «Признания варвара», возможно, самая умная книга, написанная американцем о Европе. Некоторые его стихотворения настолько отличаются простотой и прямотой, что, если им не хватает возвышенности, то в этом виновата опасная еврейская черта сознательной искусности, почти уничтожившая величие Гейне.

Вирек напомнил о себе, сказав, что мы встречались у Остина Гаррисона[1], редактора «English Review» (в Лондоне – В.М.). Я давно выработал себе правило не замечать современников. Мои спутники – великие люди прошлого, мои дети – великие люди будущего. Я не помнил его, но другим моим правилом была вежливость, даже по отношению к поэтам. Я сделал вид, что узнал его и проявил воодушевление, какое счел уместным.

Вирек – большой мастер вести беседу. Он хорошо знает мир. Его не вводят в заблуждение притворство людей общества и проститутские ужимки прессы. Он способен видеть обе стороны проблемы. Его точка зрения отмечена здравомыслием, которое происходит от ощущения необходимости компромисса, присущего второсортным натурам. Я мог говорить с ним, как говорил бы с англичанином, получившим такое же образование.

Однако его ум оказался недостаточно тонок, чтобы осознать моральный парадокс во мне. Я восхвалял Германию, я симпатизировал Германии, я оправдывал Германию – и он ошибочно заключил, как сделал бы любой средний англичанин, что я настроен прогермански. Он не мог понять мою позицию. Не виню его, поскольку сам бы удивился, если бы позволил себе беспокоиться на этот счет. Я могу быть или не быть грабителем; но если я грабитель, то продырявлю домовладельца, который помешает мне заниматься делом. Такова моя позиция, но Вирeку не постичь ее. Я могу быть возвышенным космополитом, вроде Ромена

---

1 Остин Гаррисон (1873–1928), английский журналист, главный редактор журнала «English Review» (1909–1923).

Роллана, ирландским фанатиком, вроде Роджера Кейсмента, грязным предателем, вроде Маты Хари. Но Вирекy не уразуметь, что я способен искренне думать, как Бернард Шоу (если бы он мог думать), и при этом столь же искренне действовать, как сэр Эдуард Грей (если бы он мог действовать).

По ходу беседы до моего ленивого ума дошло, что здесь – штаб германской пропаганды. У Вирека учтивые и вкрадчивые манеры, немалый политический опыт и огромные умственные способности, усиленные хитростью человека, который долго учился в тяжелой и беспощадной школе жизни, каковой мир является для гомосексуалистов. Бедняга, его нескромность выдала его неопытность! Гомосексуалист комически невинен и не может понять, что отвращение, с которым на него смотрит обычный человек, является естественным позывом. Сорвав фиалку с могилы Оскара Уайльда, он поместил ее под стекло в рамку вместе с автографом одного их сонетов лорда Альфреда Дугласа. Кому придет в голову, что выставляя напоказ свои сексуальные предпочтения столь явным образом, он не привлечет внимание людей, подверженных самым грубым сексуальным предрассудкам? Но Вирек усвоил урок. Он научился всё отрицать. Он ни в чем не признался бы даже мне, знаю мою репутацию – совершенно незаслуженную – в связи с аналогичными отклонениями. Это особенно примечательно, поскольку преследование данной страсти превратило ее адептов в своего рода масонов, которые до нескромности откровенны, когда чувствуют симпатию в собеседнике. Инициация Вирека должна была быть жестокой, если научила его настолько

экстравагантной осторожности; но она же сделала его пригодным для управления германской пропагандой.

Ставлю себе в заслугу, что с самого начала распознал в нем мастера своего дела, противника, способного на любую хитрость. До сих пор не могу согласиться с капитаном (ныне коммодором) Гонтом[1] (в то время главой британской разведки в Нью-Йорке), который оценил его в письме ко мне как «одного из мелких шакалов вокруг фон Папена». Я также ставлю себе в заслугу, что понял ограниченность возможностей Вирека. При всем блеске ему не хватало зрелости, основательности, бескорыстия и возвышенности духа, чтобы заслужить доверие, необходимое для ведения пропаганды, от которой зависит судьба целого народа. <…>

220

Моей немедленной задачей было укрепить Вирека во мнении, что я настроен прогермански. Но тут вышла загвоздка: в ноябрьском номере «English Review» за 1914 г. появилось мое стихотворение «Призыв к Американской республике», агитировавшее за англо-американский союз. Я написал его еще в 1898 г. и просто поменял «русского предателя» на «прусского предателя», чтобы соответствовать моменту. К счастью, мне не составило труда убедить Вирека, что это всего лишь маскировка, рассчитанная на глупость британской публики в целом и Остина Гаррисона в частности. Помогло то, что он лично знал Остина Гаррисона.

---

1 Гай Реджинальд Гонт (1870–1953), британский морской офицер австралийского происхождения, военно-морской атташе в США (1914–1918), адмирал (1928), член Палаты общин (1922–1926), автор мемуаров.

Но сам-то я выглядел страшно по-английски! Выговор выдавал меня, как когда-то выдал Петра. Мои костюмы были определенно с Сэвил Роуд. Не потрудившись замаскироваться под иностранца, я даже не заплатил за них. Тогда я, как за соломинку, уцепился за свою фамилию. В древних мифах фигурирует какой-то призрачный Кроули из-под Килкенни (откуда приходят коты), и хотя мои предки Кроули – после носившего это имя епископа, который публиковал озорные эпиграммы при королеве Елизавете, – вели себя в Англии вполне благонравно, в Америке было полно Кроули, происходивших прямо из Ирландии.

Я понял, что Вирек симпатизирует ирландской независимости, и выставил себя единственным и подлинным шинн-фейнером. Трудность была в том, что я ничего не знал об «ирландском вопросе» за исключением туманных общеанглийских представлений (впрочем, присущих даже знатокам), что это какой-то чертов балаган. Но Вирек хотел верить и верил, как тот католик, который боялся засыпать в темноте. Отрекомендовавшись ирландским мятежником и сторонником Германии, я ушел и принялся думать, что можно предпринять. Читая «Fatherland», я нашел немецкие доводы, изложенные с ученостью, логикой и умеренностью. Там доминировали наука, статистика и здравомыслие. С учетом особого настроения в Соединенных Штатах, народ которых, несмотря на невежество и индивидуальную непорядочность, странным образом жаждет знать правду и творить справедливость, такая пропаганда показалась мне адски опасной для британских интересов. Об этом я сказал друзьям. Они могли лишь ответить, что презирают Вирека. Некоторые, как капитан Гонт, подчеркнуто игнорировали значе-

ние «Fatherland». Другие (по-моему, еще худший вариант) думали, что могут заставить журнал замолчать, продолжая демонстративно не приглашать Вирека на обеды, не вызывающие ничего кроме скуки и несварения желудка.

Тогда я выбрал курс, казавшийся мне единственным возможным в ситуации, которая представлялась исключительно серьезной. Я буду писать для «Fatherland». Поступая так, я временно

отрезал себя от всех друзей и от всех источников заработка, покрывал позором имя, обессмертить которое считал своей миссией. Более того, мне приходилось общаться и изображать дружбу с людьми, один вид которых вызывал у меня то, от чего наступает облегчение при пересечении Ла-Манша в бурную погоду. Но германская пропаганда велась так же хорошо, как британская – плохо. Не превосходя Вирека в морали, я мог испортить ему всю игру. <…>

Постепенно я разогрел Вирека от относительно разумных выпадов против Англии до нелепостей, которые достигли поставленной цели – возмутить любое мало-мальски вменяемое существо. Я доказывал, что «Лузитания» была военным кораблем. Я раскопал все зверства бельгийского короля Леопольда, от изувеченных негров в Конго до Клео де Мерод и Анны Робинсон[1]. Я возвел жестокость до уровня высокой морали, а не только военной необходимости. Я нарисовал нимб вокруг деревянной головы Гинденбурга. Но в целом я не давал немцам повода заметить иронию.

---

1 Клео де Мерод (1876–1966), французская танцовщица. Анна Робинсон – жившая в Париже американская актриса. Молва называла их любовницами бельгийского короля Леопольда II (1835–1909).

Однажды я был по-настоящему пьян, но не от вина, а от негодования. Это был день убийства Эдит Кэвелл[1]. За один присест я написал статью – сияющий витраж, изобразивший фон Биссинга[2] в виде Иисуса Христа, «добросердечного, простодушного и доверчивого немца». Он протянул ей руку и со слезами на глазах сказал: «Мисс Кэвелл, я верю вам!». Она повела себя как Иуда. Статью я завершил бурлеском о том, как в аду ее приветствуют Лукреция Борджиа, маркиза де Бринвильер[3] и прочие вампиры, имена которых я позабыл.

Мне было до слез жаль Германию, когда я думал, что Вирек без малейших колебаний публикует такую ужасную и откровенную иронию! Американцы совершенно не понимают иронии. Однако Вирек должен был понимать, числя среди своих предков еврейскую блудницу (Эдвина Фирек – В.М.) и старого хитрого барона-грабителя (Вильгельма I – В.М.). Но в каких слезах было бы достаточно боли за Англию, когда я думал, что никто из соотечественников не прочитает мою горечь и гнев за строками пародии на кощунство?

---

1 Эдит Кэвелл (1865–1915), британская сестра милосердия, арестованная и казненная в оккупированной немцами Бельгии за то, что прятала бежавших из плена «союзных» солдат и помогала им покинуть страну с фальшивыми документами. Казнь Кэвелл вызвала протесты во многих странах и была использована для проведения антигерманской пропагандистской кампании.

2 Генерал Мориц фон Биссинг (1844–1917), генерал-губернатор оккупированной Бельгии с 1914 г.; утвердил смертный приговор Кэвелл.

3 Мари Мадлен Маргарита д'Обре, маркиза де Бринвильер (1630–1676), французская отравительница, казненная за свои преступления.

II

Поначалу журнал «International» был сугубо литературным, причем единственным авторитетным изданием такого рода в Соединенных Штатах. К несчастью, его редактором, а также владельцем, был Джордж Сильвестр Вирек. С началом войны он изменил характер «International», начал вести прогерманскую пропаганду и тем самым погубил
224 его репутацию. Почтовое ведомство Канады занесло его в «черный список». Лучшие друзья отказали ему в поддержке, тираж упал почти до нуля, и журнал продолжал механически ползти из месяца в месяц без надежды на лучшее. За восемь месяцев я поднял его до такой степени, что он начал продаваться. Его купил профессор Кисби[1], выпустивший всего один номер, – настолько скучный, невразумительный и пустой, что журнал сразу отдал концы.

(перевод Василия Молодякова)

Источник: The Confessions of Aleister Crowley. An Autohagiography. London, 1969. P. 745-751, 778-779.

---

1 Линдли Миллер Кисби (1866–1947), американский экономист, профессор Техасского университета (1905–1917), уволенный за «прогерманские» пацифистские высказывания.

ВИРЕК И КРОУЛИ:
необходимые пояснения

Публикуемый фрагмент «Признаний» Кроули нуждается в пояснениях, поскольку история отношений автора с Вирекком изложена в нем тенденциозно и с неточностями.

По данным иммиграционной службы США, Кроули сошел с парохода в Нью-Йорке 31 октября 1914 г. и остановился в «St. Regis Hotel», где жил его знакомый Фрэнк Гаррис. Полагаю, именно Гаррис, сотрудничавший с Вирекком, привел его в редакцию «Fatherland». Это произошло не позднее декабря 1914 г., поскольку первая статья Кроули в журнале «Честность – лучшая политика» – от имени англичанина-патриота призывавшая соотечественников отказаться от лицемерия и «честно» громить Германию ради экономических выгод – появилась там 13 и 20 января 1915 г. До апреля 1917 г. Кроули опубликовал в «Fatherland», в том числе под псевдонимами, не менее 11 статей и принял участие в подготовке еще пяти[1], а также поместил приветствие в спецвыпуске по случаю первой годовщины основания журнала в августе 1915 г.

---

1 *Richard B. Spence.* Secret Agent 666: Aleister Crowley, British Intelligence and the Occult. Port Townsend, 2008. P. 77; тексты: http://www.billheidrick.com/genidx.htm

Вирек кратко упомянул об их сотрудничестве в книге «Сеющий семена ненависти»: «Одним из авторов «Fatherland» был Алистер Кроули, британский поэт, которого по мастерству стиха сравнивали с Суинберном. Кроули занимался черной магией и пропагандой! Он редактировал литературный журнал Вирека «International», в котором впервые проблистали многие писатели новой школы. Позже Кроули хвастался, что работал на британскую разведку, но его претензии опроверг сэр Уильям Уайзмен (фактический глава британской разведки в США в годы войны; с 1917 г. представитель правительства при президенте Вильсоне; знакомый Вирека – *В.М.*). Так «Fatherland» рос, вербуя сторонников из разных рядов, включая черных магов»[1].

Ознакомившись с соответствующим фрагментом «признаний» в биографии Кроули, написанной Дж. Саймондсом[2] (их полное издание появилось в 1969 г.), Вирек 16 июля 1952 г. писал Дж. Мэйфилду, который собирался рецензировать книгу: «Я согласен с адмиралом Гаем Гонтом, что Кроули «мелкий предатель». Нанимая его на работу, я считал, что это прирожденный бунтарь и своего рода идеалист. Но я никогда не понимал его. Он был для меня загадкой. Несмотря на поэтические достижения, лично у меня он всегда вызывал отторжение. Я чуял в нем что-то физически нечистое. У него была жирная кожа, редко знавшая блага ванны. Я никогда не был близок с ним. Я был утомлен его мистицизмом и улыбал-

1 *George Sylvester Viereck.* Spreading Germs of Hate. N.Y., 1930. P. 51.

2 *John Symonds.* The Great Beast. The Life and Magick of Aleister Crowley. London, 1951. P. 229-232.

ся его претензиям. Последний раз я видел Кроули, когда был в Англии в 1938 г. Он жил в каком-то дешевом пристанище в окружении пожилых мужчин и женщин, которые воздавали почести своему тряпичному Мессии – самопровозглашенному Князю Ада. Печальное зрелище. Мне было по-настоящему жаль Кроули. Если он служил Сатане, тот едва ли хорошо вознаградил его. Мой друг лорд Альфред Дуглас предостерегал меня против визита к Кроули, говоря, что это «самый грешный человек в Англии». Мои британские издатели (издательство «Duckworth» – В.М.), здравомыслящие и консервативные люди, придерживались того же мнения. Они смотрели на Кроули с почти суеверным страхом. Мне он казался всего лишь сломленным пожилым человеком, который всегда был самозванцем, хотя и с проблесками гения»[1].

В июльском номере «International» за 1916 г. Кроули поместил восторженную рецензию на новый сборник стихов Вирека «Песни Армагеддона», озаглавленную «Самая примечательная книга года»: «Современные умы не могут отличить хорошего поэта от великого, потому что никто не знает настоящих мыслей «духа времени». <…> Сейчас в Америке больше плохих поэтов на кубический дюйм, чем в любой другой стране, начиная с сотворения мира. <…> Большинство честно оставило в стороне вопрос техники как явно недоступный им, предпочитая разрезать на строки скверную прозу и печатать ее как стихи. <…> Хороших поэтов в Америке можно пересчитать по пальцам одной руки героя, только что вернувшегося с фронта без девяти пальцев. Этот поэт – Вирек. Вы можете прочитать его последнюю книгу

1 Частное собрание.

от корки до корки и вряд ли найдете хоть одну строфу, которая не читалась бы так же просто, как если бы она была написана прозой»[1]. За преувеличенными и потому двусмысленно звучавшими комплиментами следовали похвалы поэтическим достоинствам исключительно политических стихов книги.

Утверждение Кроули, что бабушка Вирека по отцовской линии – актриса Эдвина Фирек – была еврейкой, не соответствует истине. Он также преувеличил тяжесть положения «International» к тому моменту, когда в июле 1917 г. Вирек передал ему редактирование с жалованьем 20 долларов в неделю. Кроули заполнял журнал в основном своими текстами под многочисленными псевдонимами, поэтому в апреле 1918 г. недовольный Вирек продал издание бывшему профессору Техасского университета Линдли Кисби, лишившемуся кафедры за «прогерманские», точнее, пацифистские выступления. Кисби объявил об изменении направления журнала и отказался печатать Кроули[2]. В прекращении его выпуска сыграли роль как финансовые, так и политические мотивы.

Утверждения Кроули о том, что его антибританская, прогерманская и проирландская (включая провозглашение независимости Ирландской республики у Статуи Свободы 13 июля 1915 г.,

---

1 Цит. по: http://www.billheidrick.com/tlc2003/tlc0603.htm#cc

2 *Richard Kaczynski.* Perdurabo: The Life of Aleister Crowley. Berkeley CA, 2010. P. 320-328. Тексты Кроули: *Aleister Crowley.* 'The International Magazine' Excerpts. San Francisco, 1986; http://www.billheidrick.com/genidx.htm. Частичное воспроизведение номеров под его редакцией: http://hermetic.com/crowley/international/.

всерьез воспринятое не только «Fatherland», но и «New York Times») деятельность в США в годы Первой мировой войны велась по тайному заданию британских властей, остаются как минимум недоказанными. Некритически принимая их на веру, Л. Спенс, основываясь на «признаниях» и на не слишком достоверных, по его собственной оценке, мемуарах Гонта, заявил, что Кроули вовлек Вирека в работу на английскую разведку. По словам Гонта, его «донимал человек из Нью-Йорка, который утверждал, что знает всё о германских интригах», но разведчик не придал этому значения. Незнакомец каким-то образом добрался до британского министра иностранных дел Эдуарда Грея, и тот приказал военно-морскому атташе (который ему не подчинялся!) встретиться с ним. Человек назвался «незаконным сыном кайзера», но Гонт в докладе в Лондон обозвал его «ничтожеством» и больше не встречался с ним. Спенс заключил, что речь идет о Вирека (хотя ранее предполагал, что это… Сидней Рейли[1]), решившем «продать родину» (непонятно зачем), поскольку тот был известен как внук кайзера, а Гонт недооценивал его[2]. Известное нам по записи Кроули от 30 июля 1936 г. формальное поручительство Вирека, что у «Мага» «не было проблем с американскими властями» в годы войны, необходимое для получения въездной визы, он также трактует как подтверждение «верности делу союзников» . Так рождаются легенды…

1 *Richard Spence.* Trust No One. The Secret World of Sidney Reilly. Los Angeles, 2002. P. 118–119.

2 *Spence R.B.* Secret Agent 666. P. 72. Оригинал воспоминаний Гонта остался мне недоступен.

После войны Вирек «отомстил» Гонту, написав, что атташе был лишь номинальным главой британской разведки, а ее подлинным руководителем и «мозгом» являлся Уайзмен. Выпуская в 1940 г. мемуары, Гонт на титульном листе демонстративно назвал себя «военно-морским атташе и главой британской разведки в США, 1914-1918», а в тексте ехидно отозвался о рассказе «Saturday Evening Post» (первая, анонимная публикация книги Вирека «Сеющий семена ненависти») про то, как на некоем официальном приеме гости шептались о нем, Гонте, как «главе британской разведки», а Уайзмен «тихо усмехался»: «На самом деле Уайзмен играл незначительную роль под моим руководством, и то временами»[1]. В 1949 г. 79-летний Гонт в письме к Уайзмену утверждал, что знал о Вирeке «достаточно чтобы повесить его», но убедил начальство оставить того в покое, ибо «лучше иметь дело с дьяволом, о котором всё известно, чем с незнакомцем, о котором никто ничего не знает»[2].

Василий Молодяков

1 Цит. по: *Stewart Halsey Ross.* Propaganda for War: How the United States Was Conditioned to Fight the Great War of 1914-18. Joshua Tree, 2009. P. 294.

2 Цит. по: *Spence R.B.* Secret Agent 666. P. 123.

ИНТЕРВЬЮ

АДОЛЬФ ГИТЛЕР:
«КОГДА Я ВСТАНУ ВО ГЛАВЕ ГЕРМАНИИ»

Вирек был первым американским журналистом, взявшим интервью у Гитлера. Их встречу весной 1923 г. в Мюнхене организовал пресс-секретарь будущего фюрера Эрнст Ханфштангль, сын мюнхенского издателя, выпускник Гарвардского университета и представитель отцовской фирмы в США в 1910-е годы, когда он, по всей вероятности, познакомился с Виреком (среди их общих знакомых были Теодор Рузвельт, Ханс Хайнц Эверс, Рандольф Хёрст и Франц фон Папен). Ханфштангль впервые услышал о Гитлере в ноябре 1922 г. от помощника американского военного атташе в Берлине Трумэна Смита (будущий военный атташе в Третьем Рейхе и видный изоляционист), которого отправили в Баварию собирать сведения о местных националистах[1], познакомился с ним и сразу стал его сторонником. Позже он познакомил Гитлера с американским журналистом Уильямом Байярдом Хэйлом, который сотрудничал с Виреком в годы Первой мировой войны, а после нее

1 *Joseph W. Bendersky.* The «Jewish Threat». Anti-Semitic Politics of the U.S. Army. N.Y., 2000. P. 230–231.

«отошел от дел и решил остаток дней прожить в Мюнхене. Он был очень умен и проницателен в оценке событий, и я часто сводил их». По словам Ханфштангля, Гитлер был рад случаю побеседовать с человеком из Нового света: «хотел знать всё о небоскребах и восторгался деталями технического прогресса, но был абсолютно не в состоянии сделать выводы из этой информации»[1].

Встреча оказалась одной из главных удач Вирека-интервьюера, хотя в 1923 г. ни одно издание не купило интервью, и автору пришлось напечатать его под заглавием «Гитлер, немецкая взрывчатка» в собственном журнале (American Monthly. 1923. October). «Когда Гитлер был неизвестен остальному миру или считался политическим сумасшедшим без будущего, задолго до того, как сам Вирек, – вспоминал его биограф Элмер Герц, – заработал первый грош благодаря нацистским связям, он почувствовал, что этот несмешной нелепый человечек колоссально повлияет на историю. Собирая материалы (для биографии – В.М.), я нашел первую статью Вирека о Гитлере, возможно, вообще первую статью о нем в американской прессе. <…> Вирек забыл о ней, пока я не обратил его внимание»[2]. Фамилия Гитлера среди прочих германских националистов несколько раз мелькнула на страницах «American Monthly» в связи с «Пивным путчем», а затем исчезла из поля зрения редактора. Находка пришлась кстати. По совету

---

1 *Ханфштангль Э.* Мой друг Адольф, мой враг Гитлер. Воспоминания личного пресс-секретаря. Екатеринбург, 2006. С. 29-33, 37-44, 48-50, 284, 332. В мемуарах Ханфштангля Вирек не упоминается.

2 *Elmer Gertz.* To Life: The Story of a Chicago Lawyer. Chicago, 1990. P. 65.

Герца, Вирек посвятил Гитлеру статью «Когда я встану во главе Германии» (Liberty. 1932. 09.07), включив в нее давнее интервью, но по настоянию редактора смягчил высказывания собеседника о предлагаемых мерах против евреев.

Следующая встреча Вирека с Гитлером состоялась в конце августа или начале сентября 1933 г. (видимо, при посредничестве Папена, занимавшего пост вице-канцлера). Никаких публикаций по ее итогам не последовало, но на слушаниях о нацистской пропаганде в Конгрессе США 11 июля 1934 г. Вирек заявил, что, сообщив канцлеру «некоторые идеи, подсказанные мне американским послом в Берлине» Уильямом Доддом, посоветовал тому умерить публичную дискриминацию евреев, негативно влияющую на имидж Германии за рубежом, и делать различие между евреями-интернационалистами и евреями-германскими патриотами[1].

По возвращении в Америку Вирек хотел рассказать о беседах с лидерами Третьего Рейха президенту Франклину Рузвельту и госсекретарю Кордэллу Хэллу, но те не пожелали его выслушать и отправили к заместителю госсекретаря Уильяму Филиппсу[2]. В качестве эксперта по Германии Вирек несколько раз писал о Гитлере, в том числе в «Liberty»[3], но больше не брал у него интервью. Их

---

1 *Elmer Gertz.* The Odyssey of a Barbarian: The Biography of George Sylvester Viereck. Amherst, 1978. P. 249-250.

2 *Charles C. Tansill.* Back Door to War. The Roosevelt Foreign Policy, 1933-1941. Chicago, 1952. P. 269-271.

3 Will Hitler Strike First? (14.11.1936); What Will Hitler Do Next? (14.05.1938); Will the Catholic Church Be Hitler's Waterloo? (04.02.1939; под псевдонимом «Donald F. Wickets»).

немногочисленные встречи, о которых известно мало, сводились к обмену приветствиями во время публичных мероприятий, вроде нюрнбергских «партайтагов».

В настоящем издании текст из «Liberty» публикуется в анонимном переводе сайта www.inosmi.ru, отредактированном в соответствии с оригиналом.

Василий Молодяков

«Когда я встану во главе Германии, я перестану платить дань иностранным державам и покончу с большевизмом внутри страны».

Адольф Гитлер залпом осушил чашку, словно в ней был не чай, а большевистская кровь.

«Большевизм, – сверкая глазами, продолжал вождь «коричневых рубашек», немецких фашистов, – величайшая угроза нашей стране. Прикончить большевизм в Германии – значит вернуть власть 70 миллионам людей. Франция обязана своей мощью не армии, но большевистским силам и разброду в наших рядах. Версальский и Сен-Жерменский договоры живы благодаря большевизму в Германии. Версальский мир и большевизм – две головы одного чудовища. Мы должны срубить обе».

Когда Адольф Гитлер выступил с этой программой, приход провозглашенного им «Третьего рейха» казался несбыточной мечтой. Но с каждыми новыми выборами влияние Гитлера росло. Сегодня он не может сместить Гинденбурга с поста президента, но возглавляет крупнейшую партию Германии. Если Гинденбург не присвоит себе диктаторские полномочия, или какое-нибудь неожиданное событие не опрокинет все нынешние расчеты, гитлеровская партия получит большин-

ство в Рейхстаге и подчинит себе правительство. Впрочем, Гитлер боролся не против Гинденбурга, но против канцлера Брюнинга. Сомнительно, что преемник Брюнинга сможет удержаться на своем посту без поддержки национал-социалистов.

Многие из тех, кто голосовал за Гинденбурга, в душе поддерживали Гитлера, но некое глубоко укоренившееся чувство верности побудило их отдать голоса старому фельдмаршалу. Если в Германии вдруг не появится новый лидер, никто кроме Гинденбурга не сможет нанести поражение Гитлеру – а Гинденбургу уже 85 лет! На вождя национал-социалистов работают время и неуступчивость французов. Если он сам не наделает ошибок или в рядах его партии не произойдет раскол, ничто не помешает Гитлеру сыграть роль немецкого Муссолини.

Первая германская империя прекратила существование, когда Наполеон заставил австрийского монарха отказаться от короны Священной Римской империи. Вторая империя рухнула, когда кайзер Вильгельм II по совету Гинденбурга бежал в Голландию. Сейчас медленно, но верно создается третья империя, хотя она, скорее всего, обойдется без скипетров и корон.

Я встретился с Гитлером не в его штабе – «Коричневом доме» в Мюнхене, а на частной квартире отставного адмирала кайзеровского флота. За чаем мы говорили о судьбах Германии.

«Почему, – спросил я, – вы называете себя национал-социалистом, ведь программа вашей партии – полная противоположность тому, что обычно ассоциируется с социализмом?»

«Социализм, – с готовностью парировал он, отставив чашку, – наука о том, как заботиться об общем благе. Коммунизм – это не социализм. Марксизм – это не социализм. Марксисты украли

это понятие и исказили его смысл. Я вырву социализм из рук «социалистов».

Социализм – древняя арийская, германская традиция. У наших предков-германцев были общинные земли. Они выработали принцип общего блага. Марксисты не имеют права выдавать себя за социалистов. Социализм, в отличие от марксизма, не отвергает частную собственность. Опять же в отличие от марксизма, он патриотичен и не отрицает роль личности.

Мы могли бы назваться Либеральной партией, но выбрали другое название – национал-социалисты. Мы не интернационалисты. Наш социализм – национален. Мы требуем, чтобы государство выполняло справедливые требования производительных классов на основе расовой солидарности. Для нас раса и государство – одно».

Внешне Гитлер не принадлежит к чисто германскому типу. Темные волосы выдают предков – уроженцев Альп. Многие годы он отказывался фотографироваться. Это было частью стратегии: знать Гитлера в лицо должны были только друзья, чтобы в момент кризиса он мог появляться здесь и там, где угодно, без риска быть обнаруженным. Сегодня его узнают даже обитатели самого захолустного немецкого хутора. Внешность Гитлера странно контрастирует с агрессивностью его взглядов. Ни один реформатор, готовый пустить ко дну корабль существующей государственности и крушить политических противников, не обладал столь мягкими манерами.

Я продолжал допрос: «Каковы главные пункты вашей политической платформы?»

«Мы верим в принцип: в здоровом теле здоровый дух. Если дух нации здоров, то и политическое тело должно быть крепким. Нравственное и физическое здоровье – это синонимы».

«Муссолини, – вставил я, – говорил мне то же самое». Гитлер улыбнулся.

«Трущобы, – продолжал он, – на девять десятых виновны в человеческих пороках, а остальное довершает пьянство. Ни один здоровый человек не будет марксистом. Здоровые люди понимают значение личности. Мы боремся против сил разрушения и вырождения. Бавария – сравнительно здоровое место, поскольку она не полностью подверглась индустриализации. Однако вся Германия, и Бавария в том числе, обречена на интенсивную индустриализацию, потому что территория нашей страны невелика. Если мы хотим спасти Германию, нам следует позаботиться, чтобы наши крестьяне хранили верность земле. Для этого нам необходимо жизненное пространство – чтобы дышать полной грудью, чтобы работать».

«И где же вы найдете это пространство для работы?»

«Нам необходимо вернуть свои колонии и расширяться на восток. Было время, когда мы могли бы разделить мировое господство с Англией. Теперь мы можем распрямить ноги лишь в восточном направлении. Балтийское море по необходимости должно стать германским озером».

«Но разве, – спросил я, – Германия не может отвоевать свои позиции в мире экономическим путем, без территориальной экспансии?'

Гитлер решительно покачал головой.

«Экономический империализм, как и военный, основан на силе. Торговля в мировом масштабе невозможна без мощи мирового масштаба. Наш народ еще не научился мыслить категориями торговли и мощи мирового масштаба. Однако Германия не сможет расширяться в экономическом или территориальном плане, пока не вернет утраченное и не найдет собственное «я».

Мы оказались в положении человека, чей дом сгорел. Для начала ему нужна крыша над головой, и только потом он может приступать к осуществлению далекоидущих планов. Нам удалось создать что-то вроде временного убежища, защищающего от дождя. К урагану с градом мы не готовы, а беды сыплются на нас, словно град. На Германию обрушилась настоящая буря – национальная, моральная и экономическая катастрофа.

240 Симптом катастрофы, которую мы переживаем, – аморальность нашей многопартийной системы. Парламентское большинство колеблется в соответствии с настроением момента. Парламентское правление распахивает двери для большевизма».

«В отличие от некоторых германских милитаристов вы не поддерживаете идею союза с Советской Россией?»

Гитлер уклонился от прямого ответа на вопрос. Точно так же он поступил недавно, когда журнал «Liberty» попросил его прокомментировать заявление Троцкого о том, что приход национал-социалистов к власти станет началом борьбы не на жизнь, а на смерть между Европой, во главе которой встанет Германия, и Советской Россией.

[Журнал писал:] «Возможно, нападки на большевизм в России не соответствуют интересам Гитлера. Не исключено, что он даже рассчитывает на союз с большевиками в качестве последнего козыря, если возникнет опасность проиграть игру. Как-то в приступе откровенности он заметил: если капиталисты не смогут понять, что Национал-социалистическая партия – последний бастион, защищающий частную собственность, если капитал будет мешать ее борьбе, Германии, возможно, придется броситься в распростертые объятия коварной Советской России. Однако он

полон решимости не дать большевизму пустить корни в Германии».

Гитлер настороженно реагировал на зондаж канцлера Брюнинга и других деятелей, стремившихся создать единый политический фронт. Вряд ли теперь, когда национал-социалисты набирают все больше голосов, он пожелает пойти на компромисс с другими партиями по любым принципиальным вопросам.

«Политические комбинации, на которых основывается единый фронт, – заметил Гитлер в беседе со мной, – слишком неустойчивы. Они делают практически невозможным проведение четко определенного курса. Повсюду я вижу зигзаги компромиссов и уступок. Тирания количественных показателей сковывает наши созидательные силы по рукам и ногам. Мы ошибочно применяем к живому организму государства арифметику и механистичность, свойственные экономике. Угроза в том, что нас становится все больше, а наши идеалы постоянно слабеют. Сами по себе количественные показатели не имеют значения».

«Но представьте, что Франция предпримет карательные меры, снова вторгнувшись на вашу территорию? Она уже оккупировала Рур и может сделать это снова».

«Неважно, – взволнованно парировал Гитлер, – сколько квадратных миль оккупирует враг, если в народе пробудится национальный дух. Десять миллионов свободных немцев, готовых умереть, чтобы жила их страна, сильнее, чем 50 миллионов, чья воля парализована, а расовое самосознание подорвано инородцами.

Мы хотим создать Великую Германию, объединяющую все германские народы. Однако спасение страны может начаться с крохотного пятачка.

Даже если бы у нас было всего 10 акров земли, но мы были бы готовы пожертвовать жизнью, защищая их, эти 10 акров стали бы центром возрождения нации. У наших рабочих две души – одна немецкая, другая марксистская. Мы должны пробудить их немецкую душу, а сорняки марксизма вырвать с корнем. Марксизм и германизм исключают друг друга.

В задуманном мной германском государстве не будет места инородцам, нам не нужны паразиты – ростовщики, спекулянты и все неспособные к плодотворному труду».

Вены на лбу Гитлера угрожающе вздулись. Голос звучал все громче, заполняя комнату. В этот момент раздался стук в дверь. Последователи Гитлера, которые, словно телохранители, всегда находятся поблизости, напоминали вождю, что ему пора выступать на митинге.

Гитлер одним глотком допил чай и встал.

ЗИГМУНД ФРЕЙД ПРОТИВ СФИНКСА[1]

Зигмунд Фрейд так долго играл важную роль в интеллектуальной жизни мира, что, подобно Бернарду Шоу, практически перестал быть человеком. Это культурная сила, которой мы можем отвести определенное историческое место в эволюции цивилизации.

«Меня сравнивали с Колумбом, Дарвином и Кеплером и меня же поносили как сумасшедшего», – замечает сам Фрейд в обзоре истории психоанализа. Некоторые даже сегодня смотрят на него как на авантюриста от науки. Будущее провозгласит его Колумбом Бессознательного.

Колумб, отыскивая всего лишь новый путь в Китай, открыл целый континент. Фрейд, пытаясь найти новый метод лечения психических заболеваний, обнаружил затопленный континент человеческого сознания.

Фрейд заставляет нас понять специфические силы внутри нас самих, которые связывают нас с нашим детским прошлым и с прошлым расы. В свете психоанализа мы впервые можем постичь загадку человеческой природы.

---

1 Из книги «Блики великих».

Я имел честь несколько раз быть гостем Фрейда. И каждый раз он раскрывал мне новые грани своей удивительной личности.

«Семьдесят лет научили меня принимать жизнь с радостным смирением».

Это сказал профессор Зигмунд Фрейд, великий австрийский исследователь дольнего мира души. Подобно трагическому греческому герою Эдипу, чье имя так тесно связано с базовыми принципами психоанализа, Фрейд отважно выступил против Сфинкса. Подобно Эдипу, он разгадал загадку. По крайней мере, ни один смертный не смог приблизиться к объяснению секретов человеческого поведения настолько, насколько это удалось Фрейду.

В психологии Фрейд занимает такое же место, какое Галилей в астрономии. Он – Колумб подсознательного. Он открывает новые перспективы, он раскрывает новые глубины. Он изменил отношение всего в жизни ко всему остальному, расшифровав скрытый смысл надписей на скрижалях бессознательного.

Наша беседа состоялась в летнем доме Фрейда в Земмеринге, в Австрийских Альпах, где любит отдыхать блестящее венское общество.

До этого я встречался с отцом психоанализа в его скромном доме в австрийской столице. Несколько прошедших с той поры лет прибавили морщин на его лбу, что еще более подчеркивало облик ученого. Его лицо казалось напряженным, словно он испытывал боль. Его ум был, как всегда, острым, дух несломленным, манеры безупречными, но легкая затрудненность речи насторожила меня.

Злокачественное заболевание верхней челюсти потребовало операции. С тех пор Фрейд носит механическое устройство, которое помогает ему

говорить. Само по себе это не сложнее, чем носить очки. Наличие металлического прибора смущало, скорее, самого Фрейда, чем его посетителей. Оно становилось заметным лишь в ходе разговора, а порой и вовсе оставалось незамеченным. Однако для самого Фрейда это причина постоянного раздражения.

«Я ненавижу свою механическую челюсть, потому что борьба с этим механизмом отнимает столько драгоценной энергии. Впрочем, я предпочитаю иметь механическую челюсть, чем остаться вообще без челюсти. Я по-прежнему предпочитаю существование вымиранию. Возможно, – продолжал отец психоанализа, – боги добры к нам. Они делают жизнь более неприятной по мере того, как мы стареем. И смерть в конце не кажется такой уж непереносимой по сравнению с тяготами, которые нам приходится терпеть».

Фрейд отказывается признать, что судьба приготовила для него какие-то особые злоключения.

«Почему, – тихо сказал он, – я должен ожидать какого-то особого снисхождения? Старость, с ее обычными тяготами, приходит ко всем. Она настигает одного здесь, другого там. Она всегда бьет по самым уязвимым местам. Окончательная победа всегда остается за Червем-победителем.

Но гаснет, гаснет свет упорный!
Над трепетной толпой.
Вниз занавес спадает черный,
Как буря роковой.
И ангелы, бледны и прямы,
Кричат, плащ скинув свой,
Что «Человек» – названье драмы,
Что «Червь» – ее герой! [1]

1 Эдгар По, «Червь-победитель», перевод Валерия Брюсова.

«Я не восстаю против всеобщего порядка. В конце концов, – продолжал великий испытатель человеческого сознания, – я прожил более 70 лет. Я не голодал. Многое радовало меня – верная дружба жены, мои дети, закаты. Я наблюдал, как весной пробуждаются к жизни растения. Пожимал дружеские руки. Встретил одного или двух человек, которые почти понимали меня. О чем еще я могу просить?»

«Вы познали славу, – сказал я. – Ваши труды повлияли на литературу всех стран. Благодаря вам, люди по-иному глядят на себя и на жизнь. А недавно, на ваш семидесятилетний юбилей, весь мир объединился, чтобы чествовать вас, за исключением вашего университета!».

«Признав меня, Венский университет только привел бы меня в замешательство. Они вовсе не должны принимать меня или мою теорию лишь потому, что мне семьдесят лет. Я вообще не придаю неуместного значения круглым датам.

Слава приходит к нам лишь после смерти, и, откровенно говоря, меня не заботит то, что будет потом. Я не стремлюсь к посмертной славе. В моей скромности нет добродетели».

«Разве для вас ничего не значит то, что ваше имя будет жить после вас?»

«Ничего, даже если оно и будет жить, что, кстати, совершенно не гарантировано. Меня гораздо больше интересует судьба моих детей. Я надеюсь, их жизнь будет не такой трудной. Я не могу особенно облегчить их жизнь. Война практически уничтожила мое скромное состояние, сбережения, которые я копил всю жизнь. К счастью, возраст – не слишком тяжелое бремя. Я еще держусь! Работа по-прежнему доставляет мне удовольствие».

Мы прогуливались вверх-вниз по небольшой наклонной дорожке в саду рядом с домом. Фрейд ласково погладил цветущий куст своими чувствительными пальцами.

«Меня гораздо больше интересуют эти цветы, – сказал он, – чем то, что может случиться со мной после смерти».

«Следовательно, вы, по сути, глубокий пессимист?»

«Нет. Я не позволяю философским размышлениям портить мне радость от простых вещей этой жизни».

«Верите ли вы в то, что личность продолжает существовать после смерти в какой бы то ни было форме?»

«Я не думаю об этом. Все живое погибает. Почему я должен выжить?»

«Не хотели бы вы вернуться в каком-либо виде, быть возрожденным из праха? Другими словами, не желали бы вы бессмертия?»

«Откровенно говоря, нет. Если признавать эгоистические мотивы, которые лежат в основе поведения человека, то нет ни малейшего желания возвращаться. Жизнь, описав круг, будет той же самой.

Более того, даже если бы вечный круговорот вещей, используя выражение Ницше, вновь облекал нас в наше плотское одеяние, то какой прок был бы от всего этого без памяти? Отсутствовала бы связь между прошлым и будущим.

Таким образом, что касается меня, я вполне удовлетворен осознанием того, что с докучным существованием будет, в конце концов, покончено. Наша жизнь, неизбежно, является цепью компромиссов, нескончаемой борьбой между эго и тем, что его окружает. Стремление чрезмерно продлить жизнь кажется мне абсурдным».

«Вы не одобряете попытки вашего коллеги Штейнаха[1] продлить цикл человеческого существования?»

«Штейнах не пытается продлить жизнь. Он всего лишь борется со старостью. Используя резервы нашего собственного организма, он помогает тканям сопротивляться болезни. Операции Штейнаха иногда позволяют приостановить неблагоприятные биологические отклонения, вроде рака,

на начальной стадии. Это облегчает жизнь, но не делает заслуживающей того, чтобы ее продлевать.

Нет никакой причины, по которой мы должны стремиться жить дольше. Однако мы, несомненно, должны стремиться жить, испытывая как можно меньше дискомфорта.

Я относительно счастлив, поскольку благодарен за то, что не испытываю боли, за небольшие жизненные удовольствия, за моих детей и за мои цветы!»

«Бернард Шоу утверждает, что наша жизнь слишком коротка. Он считает, что человек может продлить срок своей жизни, если пожелает, используя силу воли для воздействия на силы эволюции. Человечество, полагает он, способно вернуться к продолжительности жизни ветхозаветных патриархов».

«Возможно, смерть сама по себе не является биологической необходимостью, – ответил Фрейд. – Возможно, мы умираем, потому что хотим умереть. Подобно тому, как в нас могут одновременно присутствовать любовь и ненависть к одному и тому же человеку, так и вся жизнь сочетает стремление поддерживать себя с амбивалентным желанием собственного уничтожения.

---

1 Ойген Штейнах (1861–1944), австрийский физиолог, изучавший проблему омоложения.

Как натянутая резиновая лента стремится принять первоначальную форму, так и все живое, сознательно или бессознательно, стремится к полной и абсолютной инерции неорганического существования. Стремление к смерти и стремление к жизни параллельно существуют внутри нас.

Смерть – это подруга Любви. Вместе они правят миром. Именно об этом моя книга «По ту сторону принципа удовольствия».

Вначале психоанализ исходил из того, что Любовь имеет первостепенное значение. Сегодня мы знаем, что равное значение имеет Смерть.

Биологически каждое живое существо, как бы в нем ни бурлила жизнь, страстно стремится к Нирване, стремится к прекращению «лихорадки под названием жизнь», стремится прильнуть к груди Авраама. Это стремление может быть замаскировано всевозможными иносказаниями. Тем не менее, конечная цель жизни – ее прекращение!»

«Но это, – воскликнул я, – философия саморазрушения. Она оправдывает самоубийство. Она логически приводит к всемирному самоубийству, которое предвидел Эдуард фон Гартман[1]».

«Человечество не выбирает самоубийство, потому что закон его существования не приемлет прямой путь к цели. Жизнь должна завершить цикл существования. В любом нормальном существе стремление к жизни достаточно сильно, чтобы уравновесить стремление к смерти, хотя в конце стремление к смерти оказывается сильнее.

Мы можем развлекать себя причудливыми предположениями, что Смерть приходит к нам по нашему собственному желанию. Возможно, мы

---

1 Эдуард фон Гартман (1842–1906), немецкий философ, автор «Философии бессознательного».

могли бы победить смерть, если бы не ее союзник в нашей груди.

В этом смысле, – добавил Фрейд с улыбкой, – будет вполне оправданно сказать, что любая Смерть – замаскированное самоубийство».

В саду стало прохладно. Мы продолжили беседу в кабинете.

Я увидел на столе стопку рукописей, исписанных аккуратным почерком самого Фрейда.

«Над чем вы работаете?» – спросил я.

«Я пишу в защиту анализа для непрофессионалов, то есть психоанализа, практикуемого непрофессионалами. Доктора хотят, чтобы любой анализ был вне закона, за исключением того, что практикуют лицензированные врачи. История, старый плагиатор, повторяется после каждого открытия. Вначале доктора встречают каждую новую истину в штыки. Потом они пытаются ее монополизировать».

«Непрофессионалы вас активно поддерживают?»

«Некоторые из моих лучших учеников – непрофессионалы».

«А сами вы много практикуете?»

«Конечно. В настоящее время я работаю над тяжелым случаем, распутываю психические конфликты нового интересного пациента.

Моя дочь, как вы видите, тоже психоаналитик…»

В этот момент появилась Анна Фрейд с пациентом, подростком лет одиннадцати, явно англосаксонской внешности. Ребенок казался вполне счастливым, полностью осознающим конфликт или противоречие в своей личности.

«А вы когда-нибудь анализировали себя?» – спросил я Фрейда.

«Разумеется. Психоаналитик должен постоянно анализировать себя. Ведь анализируя себя, мы можем лучше анализировать других.

Психоаналитик – это как козел отпущения у евреев. Другие возлагают на него свои грехи. Он должен отточить мастерство до совершенства, чтобы избавляться от бремени, которое на него возлагают».

«Мне всегда казалось, – заметил я, – что психоанализ неизбежно воспитывает у всех, кто его практикует, дух христианского милосердия. Нет ничего в человеческой жизни, чего психоанализ не мог бы нам объяснить. *"Tout comprendre c'est tout pardonner."* – «Всё понять – означает всё простить».

«Напротив, – решительно заявил Фрейд, и на его лице появилось суровое выражение, словно у древнееврейского пророка. – Всё понять – не значит всё простить. Психоанализ учит нас не только тому, что мы должны стойко переносить, но и тому, чего мы должны избегать. Он говорит нам, что должно быть уничтожено. Терпимое отношение к злу ни в коем случае не является следствием знания».

Я внезапно понял, почему Фрейд так жестоко ссорился с теми из последователей, кто покинул его; почему он не мог простить отступление от прямого пути ортодоксального психоанализа. Его чувство справедливости унаследовано от предков. Это наследие, которым он гордится, как гордится своим народом.

«Мой язык, – объяснил он мне, – немецкий. Моя культура, мои знания – немецкие. В интеллектуальном плане я считал себя немцем, пока не заметил роста антисемитских предрассудков в Германии и в немецкой Австрии. С того времени

я больше не считаю себя немцем. Я предпочитаю называть себя евреем».

Я был несколько разочарован этим высказыванием. Мне казалось, что дух Фрейда должен парить в вышине, над любыми расовыми предрассудками, что его не должна затронуть личная вражда. Однако это негодование, этот искренний гнев сделали его еще более человечным.

Ахилл был бы непереносим, если бы не его пята.

«Рад, – заметил я, – что у вас, господин профессор, также есть комплексы, что вы тоже проявляете свою смертную природу».

«Наши комплексы, – ответил Фрейд, – являются источником нашей слабости; они же, зачастую, источник нашей силы».

«Интересно, – сказал я, – какие комплексы у меня».

«Серьезный анализ, – ответил Фрейд, – занимает по крайней мере год. Могут даже потребоваться два или три года. Вы посвятили многие годы «охоте на львов». Год за годом вы стремились к общению с выдающимися людьми своего времени, неизменно с мужчинами старше вас. Среди них Рузвельт, кайзер, Гинденбург, Бриан, Фош, Жоффр, Георг Брандес, Герхард Гауптман, Джордж Бернард Шоу…»

«Это часть моей работы…»

«Но это также ваш выбор. Выдающийся человек – это символ. Ваши поиски – это поиски вашего сердца. Вы ищете выдающегося человека. Мужчину, чтобы он занял место отца. Это часть вашего отцовского комплекса».

Я страстно опроверг утверждение Фрейда. Однако, по некотором размышлении, мне показалось, что, возможно, неожиданно для меня са-

мого, в этом предположении есть доля истины. Возможно, тот же самый импульс привел меня к нему.

«В вашем «Вечном жиде», – добавил он, – вы распространяет свои поиски на прошлое. Вы всегда ловец человеков».

«Жаль, что я не могу задержаться здесь достаточно долго, чтобы заглянуть себе в сердце вашими глазами, – заметил я некоторое время спустя. – Может, подобно Медузе-Горгоне, я умер бы от страха, увидев собственный образ. Однако, полагаю, я слишком сведущ в психоанализе. Я смогу постоянно предвидеть или пытаться предвидеть ваши намерения».

«Интеллект пациента не является препятствием, – ответил Фрейд. – Напротив, иногда это облегчает задачу».

В этом отношении основатель психоанализа расходится со многими своими приверженцами, которые считают недопустимым любое самоутверждение пациентов.

Большинство психоаналитиков используют фрейдовский метод «свободных ассоциаций». Они поощряют пациента говорить всё, что придет ему в голову, каким бы глупым, неприличным, неподходящим, неуместным это ни выглядело. Кажущиеся несущественными тонкие ниточки помогают проследить драконов психики, терзающих его, до самого логова. Психоаналитики не приветствуют стремление пациента к активному сотрудничеству; они опасаются, что тому может стать ясным направление расследования; он может неосознанно начать сопротивляться, стараясь сохранить свои секреты, и это собьет «охотника» за психикой со следа.

Фрейд тоже признает подобную опасность.

«Иногда я думаю, – сказал я, – не были бы мы более счастливы, если бы меньше знали о процессах, формирующих наши мысли и эмоции? Психоанализ отнимает у жизни последнее очарование, когда прослеживает каждое чувство до его изначальных комплексов. Нас вовсе не радует, когда мы обнаруживаем, что в наших сердцах таится дикарь, преступник, зверь».

«Что вы имеете против зверей? – ответил Фрейд. – Я, безусловно, предпочитаю общество животных человеческому обществу».

«Почему?»

«Потому что они гораздо проще. Они не страдают от раздвоения личности, от расщепления эго, что возникает из-за попыток человека приспособиться к стандартам цивилизации, которые слишком высоки для его умственного и психического механизма.

Дикарь, как и зверь, жесток, но в нем нет подлости цивилизованного человека. Подлость – это месть человека обществу за ограничения, которые оно на него накладывает. Эта мстительность пробуждает к активности профессиональных реформаторов и вообще всех, кто любит вмешиваться в чужие дела. Дикарь может отрубить вам голову, он может съесть вас, он может пытать вас, но он не доставит вам множества мелких неприятностей, которые порой делают жизнь в цивилизованном обществе почти невыносимой.

Наиболее неприятные привычки и особенности характера человека, его лживость, малодушие, невежливость, порождены неполной адаптацией к сложной цивилизации. Это результат конфликта между нашими инстинктами и нашей культурой.

Насколько симпатичнее простые, откровенные, насыщенные эмоции собаки, которая виляет хвостом, когда радуется, или лает, когда злится.

Эмоции собаки, – задумчиво добавил Фрейд, – наводят меня на мысль о героях античности. Возможно, поэтому мы, зачастую бессознательно, награждаем наших собак именами античных героев, например, Ахилла или Гектора».

«Мою собаку, – вставил я, – добермана-пинчера, зовут Аякс».

Фрейд улыбнулся.

«Я рад, – добавил я, – что он не умеет читать. Он, безусловно, не был бы столь любимым членом семьи, если бы мог высказывать свое мнение о психических травмах и Эдиповом комплексе. Даже вы, профессор, находите существование слишком сложным. Однако мне кажется, что вы сами частично ответственны за эту сложность современной цивилизации. Пока вы не изобрели психоанализ, мы не знали, что над нашей личностью доминирует множество враждебных, противоречивых комплексов. Психоанализ превратил жизнь в запутанную головоломку».

«Психоанализ, – ответил Фрейд, – несомненно, делает жизнь проще. После анализа мы достигаем нового синтеза. Психоанализ позволяет разобраться в лабиринте случайных импульсов и пытается определить место каждого из них. Или, иными словами, дает нить, которая выводит человека из лабиринта его собственного бессознательного».

«Однако на первый взгляд кажется, что человеческая жизнь никогда не была более сложной. И каждый день какая-нибудь новая идея, выдвинутая вами или вашими учениками, делает проблему человеческого поведения еще более загадочной и противоречивой».

«По крайней мере, психоанализ никогда не захлопывает дверь перед новой истиной».

«Некоторые из ваших учеников, более правоверные, чем вы, жадно ловят каждое ваше слово».

«Жизнь меняется. Психоанализ также меняется, – заметил Фрейд. – Мы лишь в начале развития новой науки».

«Мне кажется, вы создали очень изощренную научную структуру. Ее основы – теория «замещения», теория «инфантильной сексуальности», теория «символов сновидения» – выглядят весьма основательно».

«Тем не менее, повторяю, мы лишь в начале пути. Я только первопроходец. Мне удалось откопать захороненные памятники в подземных слоях сознания. Но там, где я нашел лишь несколько храмов, другие могут обнаружить целый континент».

«Вы по-прежнему уделяете основное внимание проблемам секса?»

«Я отвечу словами вашего поэта Уолта Уитмена: «Ничего бы не было, если бы не было секса». Однако я уже объяснял вам, что сегодня считаю почти столь же важным то, что лежит «по ту сторону» удовольствия – смерть, отрицание жизни. Это стремление объясняет, почему некоторые люди любят боль – как шаг к уничтожению. Это объясняет, почему все люди стремятся к покою, почему поэты выражают благодарность –

Кто б ни был этот Бог –
За то, что жизнь прервется,
Что мертвый не проснется,
Что в океан вольется
В свой срок любой поток [1].

---

1 Алджернон Чарльз Суинберн, «Сад Прозерпины», перевод Георгия Бена.

«Шоу, как и вы, не хотел бы жить вечно, – заметил я, – однако, в отличие от вас, он считает секс неинтересным».

«Шоу, – с улыбкой ответил Фрейд, – не понимает секса. У него нет даже отдаленной концепции любви. Ни в одной из его пьес нет реальной любовной истории. Он превращает в фарс любовь Цезаря – возможно, величайшую страсть в истории. Намеренно, чтобы не сказать злонамеренно, он лишает Клеопатру ее великолепия, низводя ее до ничтожной пустышки.

Причина странного отношения Шоу к любви и отрицания им основной движущей силы всех человеческих деяний – что, кстати, лишает его пьесы универсального значения, несмотря на мощный интеллект автора, – коренится в его философии. Сам Шоу подчеркивает аскетическую сторону своего темперамента.

Я, возможно, совершил много ошибок, но уверен, что не ошибся, когда сделал акцент на первичной роли сексуального инстинкта. Поскольку сексуальный инстинкт чрезвычайно силен, он часто вступает в противоречие с условностями и охранительными устоями цивилизации. Человечество, в целях самозащиты, стремится отрицать его первостепенное значение.

Как говорит пословица, поскреби русского и найдешь татарина. Проанализируйте любую человеческую эмоцию, как бы далека она ни была от сферы секса, и вы, непременно, обнаружите где-нибудь первичный импульс, которому жизнь обязана своим сохранением».

«Вы, несомненно, преуспели в том, чтобы обеспечить популярность этой точки зрения среди всех современных писателей. Психоанализ придал литературе новую энергию».

«Он так же многое получил от литературы и философии. Ницше был одним из первых психоаналитиков. Удивительно, насколько его догадки предварили наши открытия. Никто другой не понимал так глубоко двойственность мотивов человеческого поведения, а также значение принципа удовольствия.

Его Заратустра говорит, что человек обращается к Скорби:

Сгинь!
Но всякая радость жаждет вечности всех вещей,
Она рвется в свой кровный, вековечный дом!

Психоанализ, вероятно, меньше обсуждают в Австрии и Германии, чем в Соединенных Штатах, однако его влияние на литературу огромно.

Томас Манн и Гуго фон Гофмансталь[1] многое взяли у нас. Шницлер[2] в значительной степени повторяет мое собственное развитие. Он выражает в поэзии то, что я пытаюсь выразить языком науки. Но тогда доктор Шницлер не только поэт, но и ученый».

«Вы сами, – заметил я, – не только ученый, но и поэт. Американская литература с головой погрузилась в психоанализ. Руперт Хьюз[3] , Харви О'Хиггинс [4] и другие стали проводниками и истол-

---

1 Гуго фон Гофмансталь (1874–1929), австрийский писатель, поэт, драматург.

2 Артур Шницлер (1862–1931), австрийский писатель и драматург, по специальности врач.

3 Руперт Хьюз (1872–1956), американский писатель, историк, режиссер и сценарист.

4 Харви О'Хиггинс (1876–1929), американский писатель

кователями ваших идей. Сегодня вряд ли можно открыть новый роман и не найти в нем ссылки на психоанализ. Юджин О'Нил [1] и Сидней Ховард[2] многим обязаны вам. Например, «Серебряная нить» – всего лишь инсценировка на тему Эдипова комплекса.

«Знаю, – сказал Фрейд. – Я ценю ваш комплимент, но опасаюсь собственной популярности в Соединенных Штатах. Интерес американцев к психоанализу не слишком глубок. Широкая популяризация приводит к поверхностному восприятию без серьезных исследований. Люди попросту повторяют фразы, услышанные в театре или вычитанные в прессе. Им кажется, что они понимают психоанализ, лишь потому, что могут, как попугаи, повторять чужие слова. Я предпочитаю более серьезные исследования психоанализа в европейских центрах.

Америка стала первой страной, которая меня официально признала. Университет Кларка присвоил мне почетную степень, когда я подвергался остракизму в Европе. Тем не менее, Америка внесла весьма скромный вклад в изучение психоанализа.

Американцы хорошо умеют обобщать, но редко мыслят творчески. Более того, врачебное сообщество в Соединенных Штатах, как и в Австрии, пытается монополизировать данную область. Для развития психоанализа было бы крайне опасно оставить его исключительно в руках докторов.

---

1 Юджин О'Нил (1888–1953), американский драматург.

2 Сидней Ховард (1891–1939), американский драматург и сценарист. Тема его пьесы «Серебряная нить» (1926) – влечение матери к взрослым сыновьям, любовные романы которых она пытается расстроить.

Медицинское образование для психоаналитика зачастую является не только преимуществом, но и помехой. Если определенные научные положения слишком глубоко укореняются в сознании ученого, это мешает ему».

Фрейд должен говорить правду, невзирая ни на что. Он не позволит себе льстить Америке, где у него больше всего почитателей. Даже в 70 лет он не может принудить себя пойти на мировую с медицинским сообществом, которое и сегодня косо смотрит на него.

Несмотря на бескомпромиссную прямоту, Фрейд являет собой образец вежливости. Он терпеливо выслушивает любое предложение, никогда не пытаясь подавить собеседника своим авторитетом. Редкий гость уходит от него без какого-нибудь подарка, свидетельства его гостеприимства.

Стемнело.

Мне пора было на поезд, чтобы вернуться в город, когда-то знавший имперское великолепие Габсбургов.

Фрейд, вместе с женой и дочерью, поднялся по ступенькам, ведущим из его горного убежища на улицу, чтобы проводить меня.

«Не пытайтесь представить меня пессимистом, – сказал он, пожимая мне руку на прощание. – Я вовсе не презираю мир. Просто выражать удовлетворение этим миром – значит льстить ему, чтобы получить овации и одобрение публики.

Нет, я не пессимист, по крайней мере, до тех пор, пока у меня есть мои дети, жена и мои цветы!

К счастью, – добавил он с улыбкой, – у цветов нет ни личности, ни комплексов. Я люблю свои цветы. И отнюдь не являюсь несчастливым человеком, по крайней мере, не более, чем другие».

Свисток поезда разрезал ночь. Машина уносила меня на станцию. Слегка сгорбленная фигура и седая голова Зигмунда Фрейда растворились в темноте.

Подобно Эдипу, Фрейд слишком глубоко заглянул в глаза Сфинкса. Чудовище предлагало свою загадку всем путникам, проходившим мимо. Тех, кто не мог ответить, оно хватало и бросало на скалы. Однако, возможно, чудовище оказалось милосерднее к тем, кого убивало, чем к тому, кто разгадал его загадку.

Приложение

Джордж Сильвестр Вирек. Семеро против человека

(фрагмент)

Путеводные звезды гасли одна за другой, пока небо не стало темным. Безумные мудрецы ликовали, загасив небесные светильники. Но одна звезда еще сияла – звезда любви. Ее свет давал человеку не только биологическое тепло, но поэзию и романтику. Тогда Зигмунд Фрейд раскрыл перед нами ужасные глубины бессознательного, показал таинственные течения и противотоки внутри нас. Это было великое интеллектуальное упражнение. Но вместе с ним на свет вышла наводящая ужас толпа комплексов, осквернившая смрадным дыханием красоту всех человеческих отношений. Материнская привязанность, любовь мужчины к женщине, уитменовская любовь к товарищам, Любовь небесная и Любовь земная – все стали масками полиморфной извращенности ребенка. Если христианство, по выражению Ницше, доба-

вило каплю яда в чашу Эроса, то Фрейд опустошил этот сосуд и наполнил его полынью и падалью. Психоанализ превратил девять муз в сублимированные неврозы, и на обломках наших мечтаний Эдип танцует жуткий венский вальс с Нарциссом.

1940

ХИРШФЕЛЬД: ЭЙНШТЕЙН СЕКСА[1]

Доктор Магнус Хиршфельд, руководитель Института сексуальных наук в Берлине, отстаивает теорию сексуальной относительности. Он не первый, кто сформулировал эту доктрину, однако он доводит ее до логического завершения. Хиршфельд рассматривает гомосексуальность и другие отклонения от стандартов не как патологическое явление, но как варианты сексуального инстинкта.

Сторонник евгеники, Хиршфельд пытается найти научное обоснование любви. Его эксперименты так же революционны, как и его выводы.

I

«Счастливые браки совершаются не на небесах, но в лаборатории, – говорит доктор Хиршфельд. – Не понимаю, как здравомыслящая молодая пара может отважиться на такое рискованное предприятие, как брак, который подразумевает серьезную ответственность по отношению друг к другу, к потомству и к обществу, не пройдя химические, биологические и психоаналитические исследования.

---

1 Из книги «Блики великих».

Большинство людей уделяет выбору партнеров для жизни меньше внимания, чем выбору партнеров по бизнесу. Они менее разборчивы в выборе супружеской половины, чем в выборе кухарки. Они проявляют меньше осторожности при выборе мужа или жены, чем когда покупают машину или корову.

Ложная гордость и страх показаться слишком разборчивым объясняют нежелание обычных представителей рода человеческого подвергнуть свои матримониальные характеристики лабораторному исследованию. Ложная сентиментальность, страх кого-то обидеть, удерживают человека от того, чтобы подвергнуть выбранного им партнера тщательному научному анализу.

Существует и другой аспект. Поэты называют его «любовь». Фрейд говорит о «переоценке сексуального объекта». Под влиянием любовных чувств объект любви приобретает непропорционально большое значение относительно реальности. Его или ее достоинства преувеличиваются, а недостатки выпадают из поля зрения.

К сожалению, путь человеческой страсти и путь брака усыпан слишком многими обломками, чтобы можно было оправдать веру человека в интуицию любви. На самом деле, если наши чувства подлинны, мы не должны пускаться в путь по морю супружеской жизни, ведомые лишь Купидоном и не получив необходимые медицинские документы.

В некоторых странах, включая, по-моему, ваши западные штаты, требуется свидетельство о состоянии здоровья, прежде чем вам выдадут разрешение на заключение брака. Некоторые родители требуют медицинского обследования молодого человека, ухаживающего за их дочерью, прежде

чем дать согласие на брак. Обычное медицинское обследование важно для выявления очевидных проблем со здоровьем и заболеваний. Но его совершенно недостаточно для определения готовности кандидата к браку.

И мужчина, и женщина должны пройти тщательное обследование не только на предмет их здоровья и пригодности к браку, но и в плане того, подходят ли они друг другу как потенциальные супруги.

То, что для одного человека является пищей, для другого может оказаться отравой. Джил, которая может сделать Джека счастливейшим из смертных, способна превратить в ад жизнь Тома. Ганс, чье присутствие – бальзам на сердце Гретхен, может сделать Эринну глубоко несчастной.

Если Ганс женится на Гретхен, они могут стать счастливой семьей с семерыми детьми. Вступив в брак с кем-либо другим, они могут вообще остаться без детей. Делия может воображать, что влюблена в Рассела, молодого коренастого блондина, в то время как на самом деле все ее существо стремится к Уильяму, смуглому длинноногому парню.

Прежде чем сделать окончательный выбор, современные возлюбленные обращаются за консультацией к науке о сексе. Как и любые другие науки, она не отличается непогрешимостью, однако она может предотвратить некоторые очевидные ошибки и исправить другие».

Высказывания Хиршфельда основаны на уникальной практике, продолжающейся несколько десятилетий. Институт сексуальных наук, основанный в июле 1919 г., накопил огромный практический материал. В первый год существования в его списке значились 18 000 консультаций, половина из которых – бесплатные.

Две трети из тех, кто хотел получить от науки совет в делах сердечных, составляли мужчины, одну треть – женщины. Однако Хиршфельд не принимает обычную классификацию по половому признаку. Он говорит, что примерно 30% обратившихся в Институт принадлежали к «третьему полу» или «промежуточному полу». Число людей, которые, опасаясь кораблекрушения в океане любви, стараются направлять судно по компасу науки, увеличивается год от года.

Институт сексуальных наук никак не связан с государством, но к доктору Хиршфельду и его пяти коллегам часто обращаются за консультациями суды и полиция. Среди тех, кто посещал Институт, Хиршфельд называет премьер-министра Пруссии, полдюжины министров и госсекретарей и многих видных парламентариев, которые хотели получить информацию перед введением законодательных мер, касающихся проблем пола. Ежегодно в Институте бывают более 1100 представителей медицины.

Вряд ли со времени громкого скандала Эйленбурга[1] был хоть один серьезный судебный процесс, касавшийся проблем секса или сексуальных отклонений, в котором бы не упоминался Магнус Хиршфельд как один из главных экспертов. Мантия профессора Крафт-Эбинга[2] из Вены теперь

---

1 Дело Мольтке-Хардена-Эйленбурга – политический скандал, в котором были замешаны высокопоставленные гомосексуалисты из окружения кайзера Вильгельма II.

2 Рихард Фридолин Йозеф барон Крафт фон Фестенберг ауф Фронберг, известный как фон Эбинг (1840–1902), австрийский и немецкий психиатр, невропатолог, один из основоположников сексологии.

легла на его плечи. Он считается одним из величайших авторитетов в области секса, особенно его патологических аспектов, в Центральной Европе.

В отличие от Крафт-Эбинга, Хиршфельд не ограничился теорией. Он возглавляет Научно-гуманитарный комитет, группу выдающихся мужчин и женщин, которые стремятся удалить устаревшие сексуальные предрассудки из германского уголовного кодекса. Они смогли повлиять на общественное мнение, но не избежали жесткого противодействия. Толпа не раз обрушивалась на самого Хиршфельда. Несколько лет назад его едва не убили в Мюнхене студенты-антисемиты.

По словам главы Бюро социальной гигиены доктора Кэтрин Дэвис[1], секс – это страна, еще не исследованная учеными за исключением ее патологической стороны. Хиршфельд, возможно, был неправ, отдавая слишком много энергии патологическим или исключительным аспектам секса.

После основания Института сексуальных наук он смог выйти на более широкий простор. Этот Институт был мечтой его жизни. Революция в Германии позволила ему осуществить свою мечту.

Здание, в котором разместился Институт, когда-то принадлежало великому скрипачу Иоахиму[2]. Впоследствии оно служило дворцом князю фон Хатцфельду[3], у которого Хиршфельд приоб-

---

1 Кэтрин Дэвис (1860–1935), общественный деятель и социальный реформатор, пионер сексуального просвещения; в 1918–1927 гг. возглавляла Бюро социальной гигиены, созданное в 1913 г. Джоном Д. Рокфеллером.

2 Йозеф Иоахим (1831–1907), австрийский и немецкий скрипач.

3 Герман фон Хатцфельд (1848–1933), немецкий военный и политический деятель.

рел его в то время, когда воздух столицы стал вреден для князей[1].

На воротах Института по указанию Хиршфельда выбита латинская надпись: *"Amori et dolori sacrum"* – «Посвящается Любви и Скорби». Задачами Института, поясняет он, являются, во-первых, научное изучение половой и любовной жизни человека и всех других живых существ, а во-вторых, применение полученных знаний в интересах человечества.

«Наш Институт, – рассказывал Хиршфельд мне и группе представителей советского правительства, присланных в Берлин для изучения возможности создания аналогичного учреждения в Москве, – выполняет четыре функции: исследование, обучение, лечение и предоставление убежища тем, кто временно остался бездомным из-за того, что семья или общество предвзято относятся к их природе.

Мы стремимся служить государству и обеспечивать прогресс науки, а также стараемся излечить человека от физических заболеваний и избавить его от психических страданий и социальных препятствий в сфере секса, одной из важнейших в жизни».

В Чехословакии, сообщил мне Хиршфельд, уже создан государственный институт по изучению секса по аналогичным направлениям. Ученые и студенты со всего мира, включая Китай и Японию, стекаются к Хиршфельду. Не бывает и дня, чтобы какой-нибудь комитет не посетил Институт.

Когда я второй раз побывал в Институте, группа молодых учителей, открыв рот, слушала Хиршфельда и его помощников. Они рассматривали

---

1 Германская революция 1918 г.

схемы с различными математическими символами и кривыми, показывающими всевозможные сексуальные проявления и реакции. Они с восхищением смотрели на графическое воплощение научной истины, которая казалась им революционной.

Лестница и залы Института украшены фотографиями с автографами выдающихся исследователей в области секса, включая таких видных немецких ученых, как Роледер[1], Бёльше[2], Хелен Стёкер[3], Грете Мейссель-Хесс[4], барон Шренк-Нотцинг[5] и Лёвенфельд[6]. Австрию представляют Ойген Штейнах, Зигмунд Фрейд, Пауль Каммерер[7] и Вильгельм Штекель[8], Англию – Хэвлок Эл-

1 Герман Роледер (1866–1934), немецкий психиатр и сексолог.

2 Вильгельм Бёльше (1861–1939), немецкий писатель и популяризатор науки, автор исторических романов и книг по естествознанию.

3 Хелен Стёкер (1869–1943), деятель немецкого пацифистского и феминистского движения, сторонница сексуальных реформ и пропагандист сексуального просвещения.

4 Грете Мейссель-Хесс (1879–1922), австрийская писательница, деятель феминистского движения.

5 Альберт Шренк-Нотцинг (1862–1929), немецкий психиатр, исследователь гипноза, телепатии и медиумических явлений; интервью с ним включено в книгу Вирека «Блики великих».

6 Леопольд Лёвенфельд (1847–1924), немецкий невропатолог, исследователь гипнотизма.

7 Пауль Каммерер (1880–1926), австрийский биолог.

8 Вильгельм Штекель (1868–1940), австрийский психиатр, один из пионеров психоанализа.

лис и Эдвард Карпентер[1], Швейцарию – Форель[2] и Блёйлер[3]. Горжусь, что доктор Хиршфельд нашел мою фотографию достойной занять место в Храме Любви и Печали. Еще там находятся портреты выдающихся ученых из Швеции, Дании, Голландии и Эстонии.

Учение этих людей можно сформулировать одной фразой: «Понять всё – означает простить всё». «Мы, ученые, – настаивает Хиршфельд, – не

рассматриваем вопрос о первородном грехе. Мы ищем первоначальные изъяны в организме. Мы не спрашиваем, *Кто* виноват, мы спрашиваем, *Что* виновато? Именно с этой точки зрения мы изучаем любовную жизнь человека и ее патологические рефлексы.

Наш специалист-эндокринолог, – продолжал он, – возглавляет специальный отдел по изучению внутренних секреций в их взаимосвязи с полом. Мы также специализируемся в изучении и применении психоанализа. Я стою где-то между Штейнахом и Фрейдом. Я исследую физиологическую основу любой человеческой деятельности, не оставляя без внимания психологический аспект.

Нас интересует сексуальный инстинкт во всех его проявлениях и вариантах, как нормальных, так и ненормальных. Отдел матери и ребенка пытается развивать практическую евгенику. Другой отдел занимается исключительно теми, кто собирается вступить в брак. Мы консультируем семейных людей, которые приходят к нам со своими

---

1 Эдвард Карпентер (1844–1929), английский поэт и философ.

2 Август Форель (1848–1931), швейцарский невропатолог и психиатр, автор книги «Половой вопрос».

3 Ойген Блёйлер (1857–1939), швейцарский психиатр.

проблемами. Мы просвещает родителей и опекунов, тревожащихся по поводу различных проявлений в развитии их детей, которые они не могут себе объяснить.

У нас есть лекционный зал, названный в честь моего выдающегося учителя Эрнста Геккеля[1], в котором мы выступаем как перед обычными слушателями, так и перед профессионалами, и где мы иногда демонстрируем фильмы и диапозитивы, иллюстрирующие конкретные аспекты секса и современной цивилизации.

У нас много необычных коллекций, включая сто слайдов, показывающих жизнь человека *до* его рождения. Некоторые лекции иллюстрируются фильмами, объясняющими значение внутренних секреций для человеческого организма, историю любви, сексуальную жизнь в природе, учение Геккеля, а также причины, природу и предотвращение социальных болезней».

Клинические демонстрации и лекции доктора Хиршфельда и его коллег являются частью повседневной деятельности Института. Выдающиеся ученые из других учреждений и сотрудники Хиршфельда читают лекции по таким темам, как теории Фрейда и Штейнаха, сексуальная дифференциация, секс и общество, культурное значение анормального, последние достижения в области рентгена, секс и образование, сексуальная жизнь и духовная жизнь, сексуальная жизнь животных и растений.

«Наконец, – продолжал Хиршфельд, – у нас есть юридический отдел, помогающий людям, у которых возникли проблемы с законом; как правило,

---

1 Эрнст Генрих Филипп Август Геккель (1834–1919), немецкий естествоиспытатель и философ.

такая помощь оказывается бесплатно. Просвещая судей, мои помощники и я спасли многих несчастных от тюремных сроков, которые в сумме составили бы тысячи лет. Мы часто вызволяем людей из сетей шантажа. Это, однако, лишь дополнение к нашей научной работе.

Наш путь был бы гораздо более гладким, если бы мы посвятили себя исключительно науке. Однако мы не можем смотреть на человеческие страдания, не пытаясь облегчить их с помощью практических мер. Я, как и Гёте, считаю, что тот, кто знает правду, но не говорит ее, является плохим представителем рода человеческого.

Половая конституция человека, – утверждает Хиршфельд, – в значительной степени определяется его внутренней секрецией. Нарушения в ее развитии являются основной причиной большинства заболеваний. Нестабильность в половом метаболизме, иными словами, нарушения в работе желез, регулирующих пол, приводят к неврастении, истерии и другим патологическим проявлениям. Лечение не может быть исключительно физическим. Мы должны сочетать хирургию и применение лекарств с психотерапией.

Даже если мы способны вылечить болезнь, мы не можем изменить половую конституцию мужчины и женщины. Вот почему так важно изучить ее до вступления в брак. Нас часто просят проверить пригодность человека к браку. К нам обращаются за помощью при возникновении семейных проблем, особенно в случаях бездетности или когда один из партнеров не может адекватно ответить на страсть другого (фригидность). Нас вызывают в качестве экспертов на бракоразводные процессы. Беспристрастный врач может определить границы субъективной «вины» и объективное со-

стояние тела и души, за которое человек не может нести ответственность.

Иногда нам удается перекинуть мост через психологическую пропасть, которая разверзлась между двумя неудовлетворенными супругами. Чаще приходится рекомендовать расторжение брака. Мы всегда советуем развестись, если от сохранения брака не ожидается ничего хорошего ни для одной из сторон, ни для их потомства.

Мы способны определить, является ли разлад в семье всего лишь ссорой между любящими людьми, которую можно уладить, проявив терпение, или же причина заключается в фундаментальных психических и физических различиях, настолько глубоких, что даже не стоит пытаться достичь примирения.

До последнего времени наука не могла объяснить, почему супружеская пара остается бездетной, несмотря на то, что оба супруга вполне здоровы. Недавние исследования показали, что отсутствие детей в этом случае объясняется тем, что женский организм вырабатывает определенные кислоты, отвергающие сперматозоиды мужа. Причем эти кислоты воздействуют лишь на конкретного мужчину. Любой другой мужчина, с иным биохимическим балансом, вероятно, может сделать эту женщину счастливой матерью. Аналогичным образом, другая женщина, с несколько иными химическими реакциями, способна принести мужчине наследников. По какому-то непостижимому закону природы два человека, как бы они ни любили друг друга, нейтрализуют взаимные попытки выполнить свою биологическую миссию.

Когда мы обнаруживаем подобную ситуацию у супружеской пары, мы разъясняем им пробле-

му. Сегодня наука не способна предложить исцеление для таких случаев. К счастью, их возможно диагностировать до брака с помощью химических анализов в лаборатории. Это один из аспектов, которому мы уделяем особое внимание.

Порой некоторые дефекты препятствуют выполнению задач природы. Тем не менее, иногда можно обеспечить нормальное материнство, если мы не боимся применить к человеку некоторые механические методы, хорошо известные тем, кто занимается разведением животных. Это важно в тех случаях, когда условия завещания требуют наследника. В Институте такой метод применяется под руководством выдающегося гинеколога доктора Гельмбольдта.

Разумеется, механическое оплодотворение применяется относительно редко. Чаще возникают сомнения относительно отцовства, особенно в связи с судебными процессами о разводе или назначении алиментов. Недавно были отклонены три иска о назначении алиментов и удовлетворены два иска о разводе, потому что мы доказали с помощью химического анализа, что предполагаемые отцы в принципе не могли быть отцами.

Наш эксперт, обследующий предполагаемых кандидатов для вступления в брак, может без труда выявить бесплодие как мужчины, так и женщины. После этого молодые люди должны сами решить, будут ли они счастливы в браке без детей.

Разумеется, в нашем распоряжении имеются всевозможные приборы для микроскопических исследований и анализов крови, а также электроаппаратура и другие устройства для исследования различных сывороток. Все это относительно просто. Однако обычного медицинского обследования недостаточно. Мы настаиваем на исследо-

вании психологии мужчины и женщины, прежде чем рекомендуем им заключить брачный союз.

Мы подготовили тщательно составленную биосексуальную анкету с вопросами, отвечая на которые, оба могут поведать свои сокровенные секреты, свои самые интимные пристрастия и особенности характера. В письменном виде они рассказывают о вещах, о которых не сказали бы друг другу, которые в устной форме не доверили бы врачу, за исключением длительного курса психоанализа, тайны, в которых они, во многих случаях, не решились бы признаться даже самим себе.

Заполненную анкету внимательно изучает врач, и больше никто. Мы не раскрываем секреты одного другому. Профессиональная этика накладывает печать на наши уста. Тем не менее, имея на руках собственноручные признания о самых сокровенных желаниях и особенностях, мы можем сравнить ответы и определить, насколько, по нашему мнению, данный союз желателен с точки зрения интересов конкретных людей и их потомства».

Доктор Хиршфельд дал мне такую анкету, содержавшую более ста пунктов. Списки вопросов, которые в Средние века сочиняли церковные власти для наставления молодых священников, выслушивающих исповедь, оставляли мало места для воображения. Вопросы, содержащиеся в научно составленной анкете Хиршфельда, предусматривают все мыслимые возможности. Они обобщают опыт многих десятилетий исследований в данной области. Человек, который постарается честно ответить на вопросы, раскроет свою душу, свое прошлое и настоящее, причем в результате его самого, зачастую, ожидают сюрпризы.

Институт сексуальных наук собрал более 8 000 анкет, которые доступны для научного изучения, прежде чем было создано отделение евгеники. Он обладает, вероятно, самой большой в мире коллекцией интимных признаний. Ни один ученый не может похвастаться таким объемным и разнообразным материалом для работы.

Доктор Хиршфельд и его коллеги знают, как следует изучать такие документы, как делать из них выводы.

«Эти выводы, – продолжает Хиршфельд, – основываются не только на том, что написал пациент, но также на исследовании его организма и психики. Вместе с результатами обследований анкета показывает, стоит ли двум кандидатам заключать брачный союз. Заглянув в глубину их души, изучив их самые изощренные желания и наклонности, ученый может сказать, созданы ли эти двое друг для друга, или же они являются жертвами ложной страсти, некоего блуждающего огонька, который ведет их к пропасти.

Они могут верить, что любят друг друга, в то время как их темперамент требует партнера совсем другого склада. Их желание заключить брак может объясняться какими-то жизненными обстоятельствами или предыдущими разочарованиями. Возможно, они смотрят на брак как на возможность спастись от других, более реальных, хотя и менее опасных страстей.

Мы рекомендуем не заключать брак, если сексуальная конституция двух людей не дополняет друг друга; если каждый, насколько мы можем судить на основании несовершенного человеческого знания, не сможет сделать другого счастливым. Мы не требуем недостижимого совершенства. Однако мы, по крайней мере, стараемся указывать на непреодолимые препятствия.

Порой нам удается, с помощью рекомендаций или медицинского лечения, преодолеть психологические и физические препятствия. Порой мы можем рассеять сомнения влюбленных, без колебаний советуя им жениться. Но если мы уверены, что человек не подходит для брака с другим конкретным человеком, если отсутствует физиологическая основа для семейного счастья, мы также без колебаний сообщаем им свое суждение.

Иногда мы консультируем людей, которые хотят вступить в брак с родственниками: обычно речь идет о двоюродных братьях или сестрах. В таких случаях проводится тщательное обследование данных людей, изучается история семьи на протяжении длительного времени. Мы делаем анализ крови, исследуем физическое и психическое состояние обоих кандидатов.

Брак между кровными родственниками, особенно если они выросли в одной и той же среде, если они относятся к одному типу, может выявить как сильные, так и слабые стороны, свойственные данной семье. В одних случаях у нас нет возражений. В других мы выступаем против такого союза не мерее решительно, чем церковь. Однако в наших возражениях нет религиозных мотивов – они основаны на евгенике.

Бывает, что мы обнаруживаем странные разновидности и отклонения сексуального инстинкта, необычные черты характера. Если мы видим, что партнер благоприятно воспринимает данные отклонения или, по крайней мере, не проявляет негативного отношения к таким особенностям характера, мы не возражаем против брака.

В иных случаях тщательное обследование раскрывает сильную внутреннюю антипатию одного человека к основным инстинктам и желани-

ям другого. Тогда мы стараемся предотвратить брак. Разумеется, мы не можем помешать людям жениться вопреки нашему совету. Однако мы их предупреждаем.

Наука может предотвратить многие несчастья молодых людей и их потомства, если они прислушаются к ее рекомендациям. Мы даже можем восстановить семейное счастье в тех случаях, когда супруги не очень подходят друг другу, путем благожелательной интерпретации их затруднений в свете наших исследований.

Мы собираемся создать отделение хирургии, которое будет специализироваться на женских болезнях и заболеваниях уха, горла и носа, тесно связанных с сексуальными нарушениями.

Мы экспериментируем с воздействием рентгеновского излучения на внутренние ткани и вторичные сексуальные характеристики. Мы изучаем новые методы борьбы с социальными заболеваниями.

Мы также осуществляем в экспериментальном порядке различные сексуальные и межполовые изменения. Наши опыты с шелковичными червями оказались особенно успешными».

II

Освященное веками разделение людей на два пола выглядит устаревшим в свете новейших научных исследований. Сегодня говорить про два пола «ненаучно». Мы не можем классифицировать людей лишь как «мужчин» и «женщин». Природа создала бесконечное число полов. Ни один мужчина, каким бы мужественным он ни был, не является 100-процентным мужчиной. Ни одна женщина,

какой бы женственной она ни была, не является 100-процентной женщиной. Разнообразие сексуальной конституции человека не поддается четкому определению.

Тем не менее, мы можем условно разделить человечество на три основные группы: мужской пол, женский пол и «промежуточный» пол. «Промежуточный» пол представляет собой четко определенный тип. Его процент, согласно научным исследованиям во многих странах, достаточно стабилен. Этой необычной гипотезе доктор Хиршфельд, крупнейший немецкий авторитет по данному вопросу, посвятил более 30 лет своей жизни.

«Определенные гормоны или химические вещества, переносимые кровью, – говорит он, – характерны для основных половых различий. Мы называем вещество, преобладающее у мужчин, «андрин» от греческого слова, означающего «мужчина». Вещество, преобладающее у женщин, мы называем «гинекин» от греческого слова, означающего «женщина».

Судя по всему, эти гормоны никогда не присутствуют в чистом, несмешанном виде. Они сочетаются в различных пропорциях. Состояние нашей психики зависит от наших внутренних секреций, химии жизни, химической основы любви. Химия, а не анатомия, определяет пол.

Ничто в природе не является однозначным. Мужчина не является полностью «мужчиной». Он более или менее мужчина. Женщина не является полностью «женщиной». Она более или менее женщина в соответствии с пропорциями «андрина» и «гинекина» в ее организме.

Никто не является полностью «хорошим» или «плохим». Люди могут быть лучше или хуже. Никто не может быть абсолютно «сильным» или аб-

солютно «слабым». Люди бывают сильнее или слабее. Не существует однозначных стандартов.

Многое, что высоко ценилось в античные времена, сегодня не вызывает уважения. Многие поступки, одобряющиеся на войне, в мирное время считаются преступлениями. Даже патриотизм может иногда рассматриваться как национальный эгоизм. Абсолютные стандарты неприменимы ни в сфере этики, ни в сфере пола. Даже математика отказалась от понятия абсолютного.

Рационально мыслящие люди должны признать, что пол не является абсолютным феноменом, поскольку мы знаем, что Штейнах может превращать мужские особи морских свинок в женские. Недавно профессор Вальтер Финк из Института биологии в Вене полностью изменил сексуальное поведение водяного жука, пересадив, с удивительным хирургическим мастерством, голову мужской особи на тело женской.

Он не изменял их органы. Он всего лишь пересадил голову. Эксперименты такого рода с человеческими существами теоретически возможны, но в настоящее время технически неосуществимы. Я рассказываю об этом только для иллюстрации того факта, что пол не определяется исключительно внешними характеристиками».

Видные ученые не раз выдвигали различные фантастические гипотезы, зачастую противоречащие здравому смыслу. Доктор Хиршфельд возглавляет знаменитый Институт сексуальных наук в Берлине. Не только ученые и врачи, но и официальные комиссии из разных стран приезжают сюда за тысячи миль, чтобы получить совет. Его клинический материал гораздо обширнее любого, что имеется у других современных исследователей в области секса.

Хиршфельда вызывают для участия в судебных процессах в качестве эксперта. Власти принимают его заключения. На основании его заявлений они изменили сотни записей о половой принадлежности людей, переведя мужчин в разряд женщин и наоборот.

Хотя власти не ввели понятие «промежуточного пола», полицейское управление Берлина неоднократно выдавало мужчинам, в которых психически преобладает женское начало, разрешение носить женскую одежду. Аналогичным образом людям, которые на основании прежних, более примитивных методов идентифицировались как женщины, после получения соответствующей справки от Хиршфельда разрешается появляться в общественных местах в мужской одежде. В одежде противоположного пола они привлекают меньше внимания, чем в своей собственной.

И центральным, и муниципальным властям известна теория Хиршфельда о «промежуточном поле». Они отказываются признавать браки «интерсексуального» типа, но допускают, что существует определенный процент людей, которых нельзя классифицировать по физическим или психическим параметрам как «мужчин» или «женщин».

Чиновники, ответственные за эти вопросы, разрешают людям, чей пол представляется сомнительным, брать нейтральные имена, применимые к обоим полам. Так, Антон превращается в Тони, Александр или Александра получают имя Алекс, Гертруда – Герт.

Хиршфельд должен был привести очень весомые аргументы, чтобы преодолеть рутину немецкой бюрократии. Следует помнить, что власти довоенной Германии ревностно относились к обя-

занности мужчин нести военную службу. Каждый Антон, превратившийся в Тони, оказывался потерянным для армии, в то время как Александра, сохранившая лишь два первых слога своего имени, не становилась из-за этого пушечным мясом.

Во многих случаях, рассказывает Хиршфельд, принадлежащие к «промежуточному» полу берут закон в свои руки. Они «подправляют» свидетельства о рождении, паспорта и личные документы, добавляя или опуская тот или иной слог в имени, данном при крещении. Молодому человеку, которого его эндокринная система заставляет носить женскую одежду и выбирать женскую профессию, трудно устроиться на работу в качестве прислуги, если его зовут Шарль. Поэтому одним росчерком пера он меняет имя на Шарлотту. Девушке, которая оказалась в аналогичной ситуации и предпочитает носить брюки, будет легче получить работу механика, если Джорджина превратится в Джорджа.

Можно возразить, что людям всегда было известно об определенных психических отклонениях. Нам также знакомы некоторые случаи эксцентричного поведения, которое рассматривается как «ненормальное». Общество приписывает эти явления порочности человека или болезни.

Новаторский подход Хиршфельда, который признан такими авторитетами, как профессор Крафт-Эбинг, Хэвлок Эллис, многие выдающиеся авторы в Соединенных Штатах, заключается в том, что он рассматривает этих людей как вариант нормы, созданный природой с ее бесконечной способностью экспериментировать. Они, по его мнению, не являются ни преступниками, ни дегенератами, но всего лишь представляют собой «промежуточный пол».

«Природа, – сказал он мне, – не делает неожиданных скачков. Она действует шаг за шагом. Если она создала мужской пол и женский, крайние противоположности, то с ее стороны было бы неестественно не создать переходный или промежуточный тип.

Эксперименты Штейнаха, анализ Фрейда четко раскрывают бисексуальный элемент, существующий в той или иной форме, сублимированный или нет, сознательный или бессознательный, в каждом человеческом существе.

«Мы отмечаем, что некоторые мужчины, какими бы мужественными они ни выглядели, тем не менее, имеют внутренние секреции женщины. Женский элемент может даже преобладать в их биохимической системе. В некоторых женщинах доминирует мужской элемент. У других людей два этих элемента присутствуют в равной степени.

Порой мы сталкиваемся с эндокринной нестабильностью, в силу которой более активно действуют то мужские, то женские железы. Человек при абсолютно мужской внешности может иметь душу женщины. И наоборот, юноша может выглядеть женоподобным, однако при этом его сексуальная конституция является совершенно «нормальной».

Если вы изучали математические законы перестановки и комбинаторики, то знаете, что восемь человек могут сидеть за столом в тысячах разных вариантах. А теперь представьте себе невероятную сложность человеческого организма. При всей нашей изобретательности невозможно учесть все элементы, присутствующие в структуре человека.

Наука учит, что в царстве природы не существует двух совершенно одинаковых листьев. Они

могут быть похожими, но, тем не менее, всемогущая природа наградила их разным рисунком.

Несведущий человек, который смотрит на стадо овец, не может отличить одно животное от другого. Он не отличит друг от друга двух муравьев из одного муравейника. Однако ученый, изучающий природу, объяснит ему, что каждая овца и каждое насекомое имеют присущие только ему индивидуальные особенности.

Отпечатка человеческого пальца достаточно для того, чтобы выделить его среди других людей. Достаточно уха, носа, кисти руки, любой части тела, чтобы отличить конкретного человека от его собратьев.

Сексуальная конституция человека столь же разнообразна, как и возможное число перестановок и комбинаций клеток, из которых он состоит. К естественному разнообразию добавляются другие факторы. Образование, заболевания, происшествия, резкие перемены – всё это делает бесконечность еще более бесконечной.

Некоторые случаи просто бросаются в глаза. Среди тех, кто обращался за советом в наш Институт, был начальник полиции одного центрально-европейского города. Он женат, имеет детей и нормален во всех прочих отношениях, но чувствует себя несчастным, если не может носить женскую одежду. Обычно он проводит отпуск в Берлине, переодетый женщиной.

Столь своеобразные черты присущи немалому количеству людей. В Берлине (как и в Нью-Йорке), да и во всех больших городах проводятся подпольные вечеринки, где такие люди развлекаются в кругу себе подобных.

Одной из моих пациенток была бородатая женщина, которая выступала в дешевых аттрак-

ционах. Несмотря на свою внешность, она была нежной и самоотверженной матерью. Я помню, когда она рожала четвертого ребенка, вызванная акушерка по ошибке приняла ее за отца!

В первом случае отклонение от общепринятого стандарта имело психический характер, во втором – физиологический. Оба случая являются исключительными. Однако оба пациента жили вполне нормальной жизнью. Начальник полиции был, без сомнения, «мужчиной» в общепринятом смысле. Бородатая дама была, несомненно, «женщиной». Однако подавляющее большинство случаев не столь очевидно».

Я поинтересовался: «А большинство людей являются нормальными?»

«Каждый человек «нормален», – ответил Хиршфельд, – поскольку никто не может обмануть свою природу. Человек становится «ненормальным» лишь в том случае, когда болезнь, происшествие или давление общества заставляют его действовать вопреки закону его существования».

«Доктор, – сказал я, – позвольте рассказать вам историю, которую я недавно прочитал в одном американском медицинском журнале. Она вполне уместна в данном случае. Француз и ирландец поспорили, сколько всего в мире существует напитков, алкогольных и прочих. Француз говорил, что 82, ирландец настаивал, что 83.

Они заключили пари, и ирландец начал по памяти перечислять напитки. «Во-первых, – сказал он, – вода». «О! – воскликнул француз. – Ты выиграл. Я совсем забыл про нее».

«Исследователи, – заметил автор этой статьи в «American Medicine», – уделяют столько внимания патологическим явлениям и прочим отклонениям от нормы, но забыли, что большинство людей все-

таки здоровы и нормальны, если использовать эти слова в их общепринятом смысле».

«Вы совершенно правы, – ответил Хиршфельд. – На самом деле, наиболее приятный результат всех моих исследований заключается в доказательстве того, что в подавляющем большинстве людей преобладает либо «мужское», либо «женское» начало.

Однако процент тех, кто явно принадлежит к «промежуточному» полу, судя по всему, является

постоянным во всех странах и в любом климате. Несколько лет назад мы с группой ученых провели исследование с целью определить точный процент людей, чья половая конституция противоречит их анатомическому строению.

Мы подготовили анкету, которую разослали тысячам людей, занятых в различных сферах деятельности. Мы исключили лишь два класса: аристократию и людей искусства – поскольку считаем, что в этих группах процент будет исключительно высоким. Мы предпочли людей, занимающихся тяжелым физическим трудом: кузнецов, механиков, рабочих всевозможных специальностей.

Результаты наших исследований показали, что 2% явно и осознанно относятся к «промежуточному» типу. У этих людей не было причин разыгрывать нас или скрывать правду. Наша цель была серьезной и научной. Анкетирование проходило анонимно. Личности респондентов нам неизвестны.

Последующие исследования среди других групп и в других странах выявили тот же процент. Мои собственные исследования в последние годы убедили меня в том, что к этим двум процентам следует добавить, по крайней мере, один процент тех, у кого половая конституция нестабильна или двойственна. Аналогичный показатель верен и для женщин.

Это означает, что 97% людей – те, кого принято называть «нормальными». Это также означает, что примерно 3% людей явно, открыто и осознанно относятся к неопределенному или «промежуточному полу».

«Вы признаете, – спросил я, – что уделяете слишком много времени и сил этим трем процентам?»

«Нет, – ответил Хиршфельд. – Исключительное учит нас понимать обычное. «Ненормальное», используя ваше выражение, помогает понимать то, что вы называете «нормальным», подобно тому, как исследование болезней помогает нам сохранять здоровье.

Более того, в качественном плане в эти три процента входят многие выдающиеся люди: видные государственные деятели, великие поэты, военачальники, изобретатели, промышленники. Несмотря на это, «промежуточный» пол подвергается особенно жесткому давлению и вынужден страдать. В Средние века людей такого типа сжигали на кострах. Гонения продолжаются и поныне. Самое безобидное отношение со стороны общества, на которое они могут рассчитывать, это остракизм.

Если выявленный процент верен, то 1 миллион 800 тысяч жителей Германии относятся к той категории, чья жизнь не вписывается в общепринятый стандарт. В Соединенных Штатах, согласно тем же расчетам, число людей, которых следует отнести к «промежуточному» полу, достигает внушительной цифры 3 300 000.

Золя пожертвовал своей карьерой, чтобы защитить того, кто пострадал от людской несправедливости. Стоит ли обвинять меня в том, что я

посвятил свою жизнь освобождению миллионов людей от проклятия, наложенного на них невежеством и традицией?»

«Не могли бы вы назвать выдающихся исторических деятелей и представителей искусства, которые, в соответствии с вашей теорией, принадлежали к «промежуточному» полу?»

«Александр Великий, Юлий Цезарь, Людвиг II Баварский, Платон, Сократ, Сафо, Шекспир, Уолт Уитмен, Микеланджело, Оскар Уайльд, Шопен, Роза Бонёр[1]… Имя им легион, их разнообразие бесконечно.

Хочу повторить, что даже те, кого относят к «нормальным», не могут избежать влияния изначальной бисексуальности человека на их душу и тело. Некоторые современные исследователи приводят в подтверждение бисексуальной теории библейский стих: «Мужчину и женщину сотворил их». (Бытие 1:27). Они подчеркивают соединительный союз «и». «Был бы Адам упомянут таким образом, если бы Ева была создана из его бедра?» – задается вопросом Эдвард Карпентер.

Платон в своем знаменитом «Пире» выдвигает теорию о том, что первоначально человеческие существа были разделены на детей Солнца – мужчин, детей Земли – женщин, детей Луны, которые были наполовину мужчинами, наполовину женщинами. Все люди имели два набора органов, два лица, четыре руки и т.д. Зевс, раздраженный их силой и дерзостью, разрубил их надвое. С тех пор каждая половинка ищет вторую…

Дети Луны должны были быть наиболее многочисленными, поскольку сегодня они составляют

---

1 Роза Бонёр (1822–1899), французская художница-анималист.

около 97% всех людей. Дети Солнца и Дети Земли сегодня являются «промежуточным» полом.

Библейская история и греческий миф примитивнее реальных фактов. Вейнингер утверждал, Штейнах доказал, Фрейд подтвердил тезис, изучению которого в значительной степени посвящены мои собственные исследования, а именно: сексуальная конституция людей настолько разнообразна, что делить их по половому принципу на две и даже на три группы более невозможно. Это все равно, что измерять микроскопические величины линейкой.

Цивилизация будущего должна будет учитывать эти научные открытия. Цивилизация должна обеспечить максимально возможное благо для максимально возможного числа и максимально возможного разнообразия человеческих существ…

Французская революция, да и ваша собственная, вдохновлялась лозунгом, что все люди созданы «равными». Это ложное представление. Все люди должны иметь равные права и возможности, однако они никоим образом не «равны». Именно их разнообразие – бесконечные оттенки природы – придает жизни ее неизменное очарование.

Однако стремление к счастью является общей чертой всех людей. Мы все хотим получать удовольствие. Мы избегаем всего неприятного. В каждом человеческом существе закон инерции борется с законом действия, подавление с самовыражением.

Силы инерции встречаются чаще сил, побуждающих к действию. Люди действия легко доминируют над пассивным большинством. Они накладывают на жизнь свой отпечаток. Иногда

человечеству требуются столетия, чтобы освободиться от влияния, оказанного волевым, активным человеком. Поэтому борьба за свободу, независимость, самовыражение длится вечно. Такая борьба самая трудная.

Американский «плавильный котел» показывает, что не только одежда, обычаи и язык, но даже внешность иммигрантов меняется через одно поколение. В каждом государстве, в каждой общине индивидуальность приносится в жертву массовому инстинкту, «коллективной душе» группы.

Все живые существа подчиняются закону мимикрии, сформулированному Дарвином. Они принимают цвет окружающей среды. Они не стремятся привлекать к себе внимание. Они скрывают свои характерные черты, чтобы избежать преследования.

Обычный человек впитывает свои взгляды и свою религию вместе с воздухом, которым дышит. Он роялист при монархии, республиканец при республике. Он приходит в возбуждение или раздражение лишь в том случае, когда непосредственно затронута его личная жизнь.

Если, как замечает Форель, гений настолько раздражает толпу, что она – частично из покорности, частично для того, чтобы его утихомирить, – меняет свое мнение, то это новое мнение немедленно становится стандартом, изменить который способна лишь новая революция.

Помимо закона мимикрии существует закон «психической инфекции», эффект массового внушения. Наш мозг работает не сам по себе, но в унисон с другими. Возбуждение, смех, скука, горе, осуждение являются заразными.

Мы стали поклоняться суевериям, мы превратились в рабов фразы. Этим путем человек никог-

да не придет ни к политической, ни к сексуальной свободе. Идеальным государством является такое, где каждый может свободно и безнаказанно проявлять свою индивидуальность, не причиняя при этом вреда другим.

Цивилизация будущего, признавая разнообразие индивидуальных свойств человеческих существ, будет также признавать неотъемлемое единство человечества. Гражданин будущего будет гражданином мира. Берлин и Лондон, Лондон и Париж, Париж и Нью-Йорк, Нью-Йорк и Сан-Франциско сегодня ближе друг к другу, чем когда-то Спарта и Афины, два великих греческих города античности. Пространство больше не разделяет людей.

Я не признаю даже «цветной барьер»[1]. Различия между отдельными людьми гораздо глубже, чем между расами.

Дикарь носит кольцо в носу. Наши женщины носят два кольца в ушах. Дикарь выплачивает компенсацию отцу своей невесты. Современные европейские мужчины получают от родителей невесты приданое. Дикарь называет себя Могучим Львом или Свирепым Волком. Мы отбросили прилагательные, но сохранили имена «Лео» и «Вольф».

Дикарь украшает свои волосы перьями птиц. Мы делаем то же самое, правда, используем еще и прокладку из фетра или соломы. Некоторые из нас едят мясо любых убитых животных. Некоторые отказываются от свинины, но едят остальное мясо. Некоторые вдыхают табачный дым. Некоторые стимулируют себя с помощью других растений.

---

1 Расовая дискриминация.

Дикарь убивает своего врага камнем. Мы убиваем шрапнелью. Различия между нациями и расами, между нами и дикарем не столь велики, чтобы оправдать чье-то тщеславие и самомнение.

На земле, как справедливо заметил Барбюс, существует лишь один вид человеческих существ. Поэтому мы не должны проводить различия между группами. Существуют лишь отдельная личность и мир, Человек и Человечество.

Возможно, я утопист. Утопия, как сказал Ламартин[1], часто оказывается предвидением истины.

Давайте не будем тратить столько сил на подавление индивидуальности других или на попытки навязать миру свои собственные моральные, сексуальные или политические представления.

Давайте использовать те силы, которые сегодня тратятся на бессмысленные конфликты, – на благо общества, на движение от нынешнего примитивного уровня к более высоким ступеням эволюции.

Вместо того чтобы пытаться низвести всё до среднего уровня, давайте признаем право каждого на гармоничное развитие личности, основываясь не на оскорблениях и принуждении, но на бесконечном разнообразии сексуальной конституции и природы человека».

---

1 Альфонс де Ламартин (1790–1869), французский поэт, публицист, политический деятель.

EX LIBRIS:
GEORGE
SYLVESTER
VIERECK

Книги издательств «Митин Журнал»
и «Kolonna Publications»
можно приобрести в *Москве*:

«Фаланстер» Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27
«Москва» ул. Тверская, д. 8
«Циолковский» Новая площадь д.3/4
«Московский Дом Книги» ул. Новый Арбат, д. 8
«Библиоглобус» Мясницкая ул., д. 6/3, стр. 5
«Индиго» ул. Петровка, д. 17, стр. 2
«Dodo» Таганская ул., 31/22

через Интернет:
«Ozon» ozon.ru
«Книга» kniga.ru
«Esterum» esterum.ru
«Petropol» petropol.com
«Болеро» bolero.ru
«Чакона» chaconne.ru
«Международная книга» mkniga.ru
«Лавка Я + Я» shop.gay.ru/books

на Украине:
«Либра» librabook.com.ua

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА С. ПЕТЕРБУРГА.

По вопросу оптовых продаж обращаться в
ООО «Берроунз», тел. (495) 971-47-92
Национальный книжный дистрибьютор
«Книжный Клуб 36.6», тел. (495) 926-45-44

Все книги нашего издательства можно заказать
наложенным платежом в редакции на сайте kolonna.org

Джордж Сильвестр ВИРЕК
ДОМ ВАМПИРА *и другие сочинения*

Kolonna Publications
Россия, Тверь, улица Брагина, 6, офис 301
Подписано в печать 10.05.2013 Тираж 777 экз. Заказ № 12.
Формат 70 x 100/32. Объем 18 п.л. + цветная вклейка 0,5 п.л.
Гарнитура itc Charter
Брошюра напечатана при содействии и на типографическом оборудовании С.Н.Е.Г. (Союза Недовольных Ежедневным Горем); 302030, г. Орел, пер. Пресс-секретарей, 2